

Николай Герасимович Помяловский

Очерки бурсы

Оглавление

| | |
|--|-----|
| Зимний вечер в бурсе. Очерк первый | 2 |
| Бурсацкие типы. Очерк второй | 28 |
| Женихи бурсы. Очерк третий | 50 |
| Бегуны и спасенные бурсы. Очерк четвертый..... | 69 |
| Переходное время бурсы. Очерк пятый | 110 |

Зимний вечер в бурсе. Очерк первый

Класс кончился. Дети играют.

Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны – в чернобурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снега, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут парты (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него – черная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете – ведро воды для жаждущих; в противоположном углу – печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, – нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всем этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачнем и прохладном паразитов, поедающих, тело плохо кормленного бурсака. В пять окон, с пузырчатými и зеленоватыми стеклами, пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года – давно они прошли, – когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с майскими (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года *три-четыре*, отпускали *дьячить*; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали *богословского* курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание – не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замешались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались *великовозрастными*; эту причину отмечали в титулке ученика (в аттестате) и отправляли *за ворота* (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносились грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь

одежд и лиц!.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек; идут игры – оригинальные, как и все оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например, *Митаха, Элпах, Тавля, Шестиухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька* и т. п., но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура – крайне неприличное.

Семенов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он *городской*, а на городских товариществе смотрело презрительно, называло бабами; они любят маменек да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова – никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удерживать себя вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в камешки и робко проговорил:

– Братцы, примите меня.

– Гусь свиные не товарищ, – отвечали ему.

– Этого не хочешь ли? – проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

– Пока по шее не попало, убирайся! – прибавил третий.

Семенов отошел уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и стерпелся с грубым обращением.

– Господа, *с пылу горячих!*

– Кому, Тавля? – отозвались голоса.

– Гороблагодатскому.

Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а Тавля – четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно ослаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

– Ну! – сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопырив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

– Валяй! – сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

– За два! – подхватили окружающие.

– Пиши, брат, к родителям письма, – прибавил Тавля с своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух, во время его полета успел со страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она со щипчиками, и притом щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и с пылу горячими, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая *приходчина*, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем *матка* (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими, здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела; после пятидесяти появилась синева.

– Любо ли? – спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.

Противник молчит.

– Любо ли?

Опять ответа нет.

– Взъерепень, взъерепень его! – говорят окружающие.

– Заплачь, так прощу! – говорит Тавля.

– Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! – ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

– Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали.

– Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всем только комическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!».

Дошло до ста...

– Ну, черт с тобой! – заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решился на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более, чем с пылу горячих. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя товарищество, которое стало во враждебные отношения к начальству и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах училищной инструкции (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: старшие спальные – из второуездных; старшие дежурные – из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; цензора – надзирающие за поведением в классе; аудитора – выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в *нотатах* (особой

тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная – секундатор, ученик, который, по приказанию учителя, сек своих товарищей. Все эти власти выбирались из второкурсных. Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе еще на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчет был верен: второкурсные, желая удержать власть в руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора; деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, аудитора, старшие и секундатеры получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, аудитора составляли придворный штат, а второкурсные – аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надуть их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном второкурсии только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи – Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, в качестве второкурсного аудитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив – норма, когда десять копеек, взятые на недельный срок, оплачивались пятнадцатью копейками, то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет двадцать пять раз капитал на капитал. При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую неделю он обязал был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бursы; не один Тавля живодерничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки: не дать – беда, а денег нет, вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от прежестокых грядущих розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавдиторные? При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, говорит, Катька, рбчичка съесть?» – и начинает щипать подчиненного за волоса. «Тебя маменька вот так гладила по головке; постой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против шерсти

(волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» – спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавдиторного, сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? вон она!». Он загибал своим товарищам *салазки*, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимает его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески избить составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитор, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры – все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был отпетый.

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит: «хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею!» – редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, *отмачивает* дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столп товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались *благими*: это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались *отчвалыми* : эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый *башка* : он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазней* (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей¹ напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол – все это были дела Гороблагодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще *недовольных*; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено – и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется *бунтом*. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же *убоину*; но они

¹ Этих насекомых было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими; он служил каким-то огромным гнездом для паразитов: целые стада на виду ходили в его нестриженной и нечесаной голове; когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неприятность бурсы была поразительна: золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака.

по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечен раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но, во всяком случае, должно сказать, что его все-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надувать начальство. Особенно замечателен был прием под названием – *пустить круговую*. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А., А. опять на В. – вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек тридцать, и тогда сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» – «Меня научил такой-то». – «А ты зачем?». Тот ссылается на другого, и пошла коловоротница, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство – подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальником, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что; поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т. п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишенное смысла и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную поговорку: *не репу сеют, а секут только.* Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах: искусный в своем деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодатского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покатоj доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делатъ до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по полчаса и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью (верьте, что это факты) – все он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво:

– Не хочешь ли еще?

Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

– Давай! – упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защелкали.

Семенов издала наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный тою же бурсакою администрацией. Товарищество сегодня огласило его *фискалом*.

Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо – фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую послугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экононской свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предуведомленный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к наказанию, но начальство из доносов все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика сильно наказанного были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в черную книгу. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались *волчьи паспорта*: это те же титулки, только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было *молчание*: целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чем не поможет, а напротив – с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов: на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось *бесчестным*.

Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало что хотело.

Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся.

– С пылу горячие! – закричал Гороблагодатский.

В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту.

Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя: Гороблагодатский в один прием взял все восемь конов, а Тавля срезался на пятом...

– Конца не будет! – сказал сурово Гороблагодатский.

Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит.

Дошло до ста. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:

– Да ну, полно же!..

– После двухсот проси пощады, – отвечал Гороблагодатский.

– Ведь больно!..

– Еще больнее будет.

На сто семидесятом щипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча...

– Довольно же, Ваня... что же это будет?

Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением щипнул Тавлю.

Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненаруσιμο, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:

– Оставь... ведь натешился.

– Скажи только слово, еще двести закачу!..

Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий. Тавля не вынес: по щекам его потекли слезы.

Наконец двести.

– Теперь прощенья проси!

Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.

– Да ну, оставь же!

– Зачем насмеялся давечь?

– Так то ведь шутка!

– Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнул он Тавлю.

– Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.

– Будет с тебя. Сыт ли?.. – спросил Гороблагодатский.

Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.

– Подлец! – проговорил он. – Слышь, не задевай! в зубы съезжу!

– Ты?

– Я.

– А вот и харя, съезди, – сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо...

Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка...

«Так и надо, так и надо!..» – шевелилось в душе Семенова...

Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа... Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе. Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться; на дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.

Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол и между партами, останавливаясь то здесь, то там.

Посмотрел он, как играют в *чехарду*, – игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня *ломали пряники*, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе не спину друг друга; это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозвищу Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в *швычки* : эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову шелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал – опять ложись; угадал – на смену ему ляжет угаданный. Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.

«Так и надо!» – повторил он в душе и пошел к пятой парте.

Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.

Семенов перешел к седьмой парте и любовался, как шесть *нахаживали*. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед.

На следующей парте Митаха выделявал *богородичен на швычках*, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщелкивал пальцами. Тут же Ерундия (прозвище) играл *на белендряхах*, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, *белендрясили*. Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «под потолком полком полколпака гороху», «нашего пономаря не перепономаривать статью», «сыворотка из-под простокваши».

Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в *плевки*. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на *смазь*. Шестиухая Чабря плюнул выше.

– Подставляй! – сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.

Омега выпятил свою *лупетку* (лицо).

– Надувайся! – сказал Чабря.

Омега надул щеки.

– Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснел.

– *Верховая*, – начал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, – *низовая*, прикладывая к подбородку, – две *боковых*, – прикладывая к одной и другой щеке. – Надувайся! Омега надулся.

– И *всеобщая*! – торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.

После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.

Семенову было скучно. Он не знал, что делать...

– Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!

Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, от чего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.

Семенов очутился около него.

– На сколько? – спросил Элпах, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

– На пять копеек.

– Деньги?

– Вот!

– Держись.

– Что ж ты обсосанных даешь?

– Лучший сорт.

– Перемени, Элпах.

– Леденчиков, пряников! – закричал Элпах, отворачиваясь в сторону.

Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.

– Давай играть в *костяшки*. – сказал ему Хорь.

Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

– Что *глядель* –то пучишь? не бойся!

– Надуешь...

– Ну вот дурак... что ты!

– Побожись.

– Ей-богу, вот те Христос!

– Право, не надуешь?

– Побожился! чего ж тебе еще?

– Ну ладно, – ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

В училище была своя монета – *костяшки* от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась *однодырочная* костяшка; две однодырочных равнялись *четырёхдырочной*, или *паре*, пять пар *куче*, или *грошу*, пять куч *великой куче*. Костяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре *в юлу* и *в чет-нечет*. Бывали владельцы сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезают костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.

Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего – все казенное, и если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжение семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был *кальчатить*. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье – зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки; но, наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами, либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться – все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волоса под партой и задал ему *волосянку*. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.

– Чет аль нечет? – спросил он, загадывая.

– Пусть нечет, – отвечал Семенов.

– Твое. Теперь ты.

Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман.

– Что же это. Хорь? – говорил Семенов.

– Я тебе Хорь?.. а в ухо хочешь?

– Оплетухом, – сказал один из товарищей.

– Беззаконновахом, – прибавил другой.

– И неправдовахом, – заключил третий.

– Отдай, Хорь; право, отдай.

– Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:

– Господа, это подло, наконец!

– Что такое?

– Кто взял горбушку?

– С кашей? – отвечали ему насмешливо.

– *Стибрили?*

– *Сбондили?*

– *Сляпсили?*

– *Сперли?*

– *Лафа, брат!*

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а *лафа* – лихо!

– Комедо! – раздался голос Тавли.

– Иду! – было ответом.

Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.

– Готово? – спросил Комедо.

– Есть! – отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трехкопеечных булок.

– Сожрешь?

– Сказано.

Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.

– Условия?

– Не стрескаешь – за булки деньги заплати, а стрескаешь – с меня двадцать копеек.

– Давай.

– Смотри, ничего не пить, пока не съешь.

Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.

– Раз! – считали в толпе. – Два, три, четыре...

– Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съел пятую.

– Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съел шестую.

– Прорва! – говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.

– Теперь и напиться можно, – сказал Комедо.

Когда он напился, его спрашивали:

– А еще можешь съесть что-нибудь?

– Хлеба с маслом съел бы.

Достали ломоть хлеба и масла достали.

– Ну-ка попробуй!

Он съел.

– А еще?

– Горбушку с кашей съел бы.

Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.

– Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животное ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?

– А что брюхо? – спросил кто-то.

– Тугое, – отвечал Комедо, тупо глядя на всех...

– Очень?

– Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

– Ишь ты, стерва!.. как барабан!..

– А что, два фунта патоки съешь?

– Съем.

– А четыре миски каши?

– Съем...

– А пять редек?

– А четыре ковша воды выпьешь?

– Не знаю... не пробовал... Я спать хочу...

Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в

скоромные. Васенда наводил: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах: тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.

– Не *садануть* ли в *постные*? – пробормотал он.

Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.

– А, вон где! – сказал он, отыскав то, что требовалось.

Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, наводил; спина его была открыта и выпячена вперед. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был...

– Тавля ударил, – сказал он.

Тавля лег под удары.

Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперед, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.

Ударили Тавлю.

– Хлестко! – говорили в толпе.

– Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

– Кто ударил?

– Ты.

– Вали его... вали снова!..

Тавля наклонился...

– Взбуетень его!

– Взъерепень его!

– Чтоб насквозь прошло!

Трехпудовый удар упал на спину Тавли.

– Гороблагодатский, – сказал Тавля, едва переводя дух...

– Растянуть его снова!

Опять повторился сильный удар...

– Бенелявлов, – указал Тавля.

– Вали еще!..

– Что ж, братцы, эдак убить можно человека...

– Зачем мало каши ел?

– Жарь ему в становой!

Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.

– Что ж это, братцы?.. убить, что ли, хотите?

– Значит, любим тебя, почитаем, – сказал Гороблагодатский.

– Братцы, я не лягу... что же такое!.. других так не бьют...

– А тебя вот бьют!

– Жилить?

– Вздую!

– Морду расквашу! – сказал Гороблагодатский.

– Братцы...

– Ну! – крикнул грозно Бенелявдов.

Тавля угадал наконец... Игроки захохотали, когда он сказал:

– Я не хочу больше играть...

– Отчего же, душа моя? – спросил Гороблагодатский.

Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными... Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.

– Кто это? – спросил он.

Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на Хорька.

– Ей-богу, братцы, не я... вот те Христос, не я... хоть обыщите...

– Чичер!.. – провозгласил Гороблагодатский.

Человек десять вцепились Хорьку в волосы, а один из них запел:

– Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?

– Пирога, – пищал Хорь...

– Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

– Кочена.

Снова почали и опять пропели «чичер»...

– Кок или вилки в бок?

– Кок! – отвечал истасканный Хорь.

После этого, отпустив в его голову несколько шелчков, отпустили его с миром, говоря:

– Не бесчинствуй!..

– Черти эдакие! – отвечал Хорь. – Я в другой раз еще не так!

Семенов, видя, как таскали Хоря, шептал:

– Так и надо, так и надо!

Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придержали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе; еще несколько минут, и зги не увидишь.

– Братцы, – заговорил Семенов, опомнившись, – за что вы меня ненавидите?.. все!.. все!..

Голос его был заглушен хорОВОЮ ПЕСНЕЙ. Сумерки развивались быстро, едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки. Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестренки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюда, и легкий пар идет от живительной влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, приклонился к стеклу и опять зарыдал... Но вдруг плач его пресекается... Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Остудил он от страха, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. тебя все ненавидят! и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клочок волос из головы, плюнут в лицо...». В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», – прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» – прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клочок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решился просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте. В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико... Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, въехали в загорбок; слышен напев на «Господи воззвах, глас осьмый»; вырывается из концерта патетическая нота в верхнее ре; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарстии, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; грегочет какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделявая «и-и-го-го-го-го!». Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на гласы и вкушают затрещины. В Камчатке, под управлением заматерелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами бурсы:

*Сколь блаженны те народы,
Кох крепкие природы
Не знали наших мук,
Не ведали наук!*

*Тут в столовую заглянешь,
Щей негодных похлебаешь,
Опять в свой класс идешь,
Идешь, хоть и воешь...*

*А тут архангелы подскочат,
Из-за парты поволочат,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать...*

Бедняги! недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошел до нас...

В другом месте слышно:

*На поповой-то на даче Мужичок едет на кляче,
Хлибушку везе,
Хлибушку везе...*

*Мужичье к возью бежали, Кулачьем в возье совали:
– Ще, бра', продаешь?
Ще, бра' продаешь?*

*Им сказали, ще овес;
Мужик вынул да потрес
На горсти своей,
На горсти своей.*

Еще слышно:

*А как взяли козла Поперек живота,
Как ударили козла
О сырую мать-землю;*

*Его ноженьки При дороженьки,
Голова его, язык
Под колодою лежит...*

После каждого двустипшия припевалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли

и потом повторение второго стиха.

А вот и еще отрывок:

Любимцы... Аполлона Сидят беспечно in сауропа [в кабачке, в харчевне].

*Едят селедки, тергут [чистое, неразбавленное вино] пьют
И Вакху дифирамб поют:
«О, как ты силен, добрый Вакх!
Мы tuum regnum [твое царство] чтим в мозгах:
Dum caput nostrum [пока нашу голову] посещаешь,
Оттуда curas [заботы] выгоняешь,
Блаженство в наши льешь сердца
И dignus domini [достойный господи] отца.
Мы любим Феба, любим муз:*

*Они с богами нас равняют,
Они путь к счастью прокладывают,
Они дают нам лучший вкус;
Sed omnes haec [но все эти] плоды ученья
Coniunctae sunt [соединены] всегда с томленьем...
Давно б наш юный цвет увял,
Когда б ты нас не подкреплял!»*

Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников...

Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночною темнотою», «Я, бедная пастушка», «Уж солнце зашло вверх, горя» и т. п., либо чисто народные песни: «Ах вы. сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити» и т. п.

Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия:

*В восьмом часу по утрам,
Лишь лампы блеснут на стенах,
Мужик Суковатов несетя,
Несетя в личных сапогах...*

Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счету нет... Появились лай, мяуканье и кряканье, свист и визг. Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая *разноголосица*: участвующие в ней разбирают между собою все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод пронимают приходчину до костей; благим матом затягивается: «холодно, холодно!» – это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики, и стонут – душу надрывают: «холодно, холодно!» – «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто выработывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слышавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах... Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное и мирное житие»; с неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами: «благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!». На необъятной нотище разрешается последний звук... В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все... Товарищество наслаждается: оно страстно любит крепкий звук... Но минута – и стоголосое «многая лета!» отвечало басу... Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, – уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.

– Господа, концерт! – предложил кто-то.

– «На реках вавилонских».

– Да нот нет!..

– На память!..

– Зови маленьких певчих.

Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты плачут детскими голосами; бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот... «Каково воспоем на земле чуждей песнь господню?» – отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слезы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и наконец переходит в сильные, грозные голоса: «Лици вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!».

После концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом:

*А как взяли козла
Поперек живота...*

Но ученики недолго сидели скромно и тихо.

– Приходчину дуть! – раздался чей-то голос.

– Идет! – отвечают на голос.

Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертной, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? за что бьет? Черт их знает, и черт их носит!.. Плач, вопль, избиение младенцев! На партах и под партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побоеваниях приходчины, совершаемых в потемках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаль: «раззудись, плечо, размахнись, кулак!», а с другой стороны – «трепещи, приходчина, и покоряйся!». Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалить, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и шупает бока свои. Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.

– Мала куча! – кричало несколько человек.

Среди класса, в темноте, шла какая-то возня – не то игра, не то драка... Смех и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т. д. Упавшим не дают вставать. Человек тридцать роятся в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов: – Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая.

– Масло жать! – кричали из угла у печки.

Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках: – Михалка, вали!

– Васенда, при!

– Работай, Шестиухая Чабря...

– Тисни, Хорь, тисни!

Попавшие к стене еле дышат, селятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло. Но обе игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».

– Братцы, «то это? братцы, оставьте!.. караул!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голос... Кому-то зажали рот... вот повалили на пол... слышно только мычанье... Что там такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потом ясно обозначился свист розог в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот...

– Десять... двадцать... тридцать...

Идет счет ударов.

– Сорок... пятьдесят...

– А-я-яй! – вырвался крик...

Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело...

– Ты, сволочь, кусаться! – Это был голос Тавли.

– Ай, братцы, простите!.. не буду!.. ей-богу, не бу...

Ему опять зажали рот...

– Так и следует, – шептались в товариществе...

– Не фискаль вперед!..

Уже семьдесят...

Боже мой, наконец-то кончили!

Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова... В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон... Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:

– Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем... – И при этом он прибавил непечатную брань.

– Полайся!

– На зло же расскажу все инспектору... про всех...

Неизвестно, от кого он получил затрепину, и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко... отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их. Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья разорвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в

продолжение вечера оскорбленный и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:

– Сбегу... сбегу... зарежусь... жить нельзя!..

Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах – благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет и что великого сеченья должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семенов рыдал... Что-то злое было в его рыданиях... но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина.

– Что с ним? – спрашивали ученики.

– Не случилось ли беды?

– Да жив ли он?

– Братцы, – закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семенов, – он пошел жаловаться!

– Опять фискалить! – раздалось несколько голосов.

Расположение товарищей мгновенно переменилось; посыпалась на Семенова злая брань.

– Смотрите, не выдавать, ребята!

– Э, не репу сеять!.. – слышались ответные голоса.

– А ты как же, Тавля?

– Я скажу, что хотел заступиться за него, и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.

– Молодец Тавля.

Однако Тавля дрожал, как осиновый лист.

– А что цензор будет говорить? – он должен донести, а то ему придется отвечать.

– А скажу, что меня не было в классе, – вот и все!

В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу о трех рожках. От столбов полосами легли тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.

Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокое розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив аудитора взяткой; иные думали беспечно: «авось-либо и так сойдет!», а человек пятнадцать, на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сеченье не заставит их учиться; эти счастливицы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Ленъ была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятых часов заставило ученика выработать тот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и все в бурсе, является в оригинальных формах.

Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «следующему», Васенда толкает Карася, Карась Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется *жевком*, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай, если к тебе не пристают», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (это прозвище ученика) я уж с тобой на матках в чехарду», в третьей «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безымянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный – человек опасный; рыжий-пламенный сожжет дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, пьют рот пальцами, показывая искривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул – это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Авдитор, по прозванию Богиня, жует резину, третий день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск; чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любит ее целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он – вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал *пильщика*, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему *закоперщику* (другу) Мямле. Один великовозрастный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбравшись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит «хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер» и выйдет не по-русски, а *по-херам*. Другой отвечает ему еще хитрее: «ши-чего ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «ничего не бойся». Это опять не по-русски, а *по-шицы*; здесь слово делится на две половины, например: розга, к последней прибавляется *ши* и произносится она сначала, а к первой *цы* и произносится она после; выходит *ши-зга ро-цы*. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее; снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу; таким образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на посланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь!

Не только записные, безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчадалы, но еще не камчадалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Папля со всеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением

опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т. д. работает, желая узнать, что из этого выйдет. Порося придавил глаз пальцем и любит, как перед ним двоятся и троятся предметы; потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжанье и легкий говор в классе, как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любит на затекший кровью палец. Третий насасывает руку до крови... Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например, прислушиваются, как бьется пульс, заберут в легкие воздух и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу – не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, сбивают слюну во рту и потом выплевывают на пол, читают страницу сзади наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки... Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей... и урок ему нейдет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит – будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думают брать. Иные сидят обесмыслившись и млеют в тоске неисходной, ожидая скоро ли пройдут три законных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? – спросит читатель. – Неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да пожалуй, что и занимательнее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.

Главное свойство педагогической системы в бурсе – это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смысла: «стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...». Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалось в голове ученика «стыд и срам». Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы». При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены, воспитаны той философией, которая учит, что «все люди смертны, Кай – человек, следовательно Кай смертен» или что «все люди бессмертны, Кай – человек, следовательно Кай бессмертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному закону», что «законы тождества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего я или из нашего самосознания», что «где является свет, там уничтожается тьма», что «смирение есть источник всякого блага, а вольнодумство пагубно и зазорно» и т. п. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы: «может ли диавол согрешить?», «сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию?», «первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные?», «что чему предшествует: вера любви или любовь вере?» и т. п. Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему pro и contra [за и против (лат.)], смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускались в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Еще во время детства у них явилось расположение разрешать: «что такое сущность?», «что такое целое?», «спасется ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет?», и им очень хотелось, чтобы нет. Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одаренное свободно-разумной душой, царь

вселенной, – хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть не более не менее, как бесперый петух. Все это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-философов, но, к благополучию его, возражения давались редко и вообще считались ученою роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня... Что же удивительного, что такая наука поселяла только отвращение в ученике и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто пред глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно: что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоит позать пружину – и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах – удивительно! – нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться *башкой*. Бывали удивительные башки. Так, некто Светозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начав с «А, ab, abc», он отхватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова, и такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам; большинству они давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вон Данило Песков, мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгой два часа с половиной, поводит помутившимися глазами... и что же?.. он видит, многие измучились еще более, чем он, многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса... Э, бедняга, хоть сам-то пожалей себя! брось ты книгу под парту либо наплюй в нее – все равно завтра твое тело будет страдать под лозами... ступай-ка, дружище, в Камчатку – там легче живется; а дельных знаний у камчатников, право, не меньше, нежели у самого закаленного башки. Ученик, взглядываясь в измученные долбнею лица товарищей, невольно спрашивает себя: «Зачем эти труды и страдания? к чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим учебником? разве мы не люди?». Среди таких размышлений выскочит без спросу, сам собою, кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается; в ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они, послушные сцеплению идей, как это бывает с человеком во сне. Невесела картина класса... Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию... Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой: он и не заметит, как подойдет минута, возвешающая ужин.

Но вечер кончился очень занимательно. Минут за тридцать до звонка явился в классе Семенов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое место. Занятая оживилась: все смотрели на него. Семенов чувствовал, что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз, холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минуты через четыре снова отворилась дверь; среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры – служителя при училище: один из них был Захаренко, другой Кропченко – на них была обязанность сечь учеников; двое других, Цепка и Еловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мертвая тишина настала в классе... Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом... Наконец инспектор остановился около Тавли... Тавля готов был провалиться сквозь землю.

– К порогу! – сказал ему инспектор после некоторого молчания.

– Я... – хотел было оправдываться Тавля.

– К порогу! – крикнул инспектор.

– Я заступался за него... он не понял...

Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трепку; потом наклонил его за волоса лбом к парте, а другой рукой, кулаком, ударил ему в спину, так что гул раздался от здорового удара по крепкой спине; потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал:

– К порогу!

Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся медленно, лег на грязный пол голым брюхом; на плеча и ноги его сели Цепка и Еловый...

– Хорошенько его! – сказал инспектор.

Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами; лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семенова, а тот не понял, в чем дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак: когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев... Ученики шепотом считали число ударов и насчитали уже восемьдесят. Тавля все кричал «не виноват!», божился Господом Богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семенова; Семенов не понимал сам себя: и тени наслаждения местью не было в его сердце, он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает, на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту. Тавля вынес уже более ста ударов, голос его от крику начал хрипеть, но все он продолжал кричать: «Не виноват, ей-богу, не виноват... напрасно!». Но он должен был вынести полтора ста.

– Довольно, – сказал инспектор и прошелся по комнате. Все ожидали, что будет далее.

– Цензор! – сказал инспектор.

– Здесь, – отозвался цензор.

– Кто еще сек Семенова?

– Я не знаю... меня...

– Что? – крикнул грозно инспектор.

– Меня не было в классе...

– А, тебя не было, скот эдакой, в классе!.. Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя... И тебя отпорю, – сказал он Гороблагодатскому, – и тебя, – сказал он Хорю. Потом инспектор указал еще на несколько лиц.

Гороблагодатский грубовато ответил:

– Я не виноват ни в чем...

– Ты всегда виноват, подлец ты эдакой, и каждую минуту тебя драть следует...

– Я не виноват, – ответил резко Гороблагодатский.

– Ты грубить еще вздумал, скотина? – закричал инспектор с яростью.

Гороблагодатский замолчал, но все-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора...

Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический страх. В училище бывали случаи, что не только секли десятого, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать наверное, будут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись; некоторые были бледны; двое городских тихонько от товарищей плакали: что, если по счету придется в списке инспектора десятым?.. Только Гороблагодатский проворчал: «не репу сеять!» и остервенился в душе своей и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался итти к Семенову и избить его окончательно; он уже сказал себе: «семь бед – один ответ»; но вдруг лицо его озарилось новой мыслью, он злорадно усмехнулся и проговорил:

– Пфимфа !

Семенов совершенно замер... Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждет удара тяжелого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон... дышать почти нельзя... Черти, черти! какие минуты приходилось переживать бурсаку...

– Пфимфа! – сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться...

Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели...

– Становись в пары! – закричал цензор...

Минуты через две ученики отправились в столовую и, пропевши в пятьсот голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошел к Бенелявдову и повторил загадочное слово:

– Пфимфа!

– Следует! – ответил Бенелявдов.

*Уже в обители священной
Привратник запер крепко вход,
И схимник в келье единенной
На сон грядущий pгесes [молитвы] чтет...
Морфей на город сыплет маки,
Заснул народ мастеровой;
Одни не дремлют лишь собаки,
Да кой-где вскрикнет часовой...
Вторично петухи кричали...
Был ночи час; все крепко спали...*

Так «Семинариада» описывает ночь...

Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собой. Задний отдел трех номеров носил название Сапога. Это были спальни своекоштных; поэтому утром и вечером, особенно в первые недели после больших праздников, в Сапоге и других двух комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось все училище; ученики толпами переходили от одной кровати к другой; из под кроватей, числом до двухсот в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несла сырость, сальные свечи в шандалах делали атмосферу

горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в зараженном воздухе, утрачивало наконец способность чувствовать отвращение к нему!.. Другая беда – холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален, со столбами посередине, как и в классах, слабо освещались, и темные тени ложились полосами по кроватям. Ученики храпели и бредили; некоторые во сне скрипели зубами.

Доскажем последние события зимнего вечера в бурсе. Из комнат Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол девятого номера: там поднялись еще две фигуры... Между ними начались совещания.

– У тебя пфимфа? – спрашивал один.

– У меня.

– Давай сюда.

Все три фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семенова... Один из участников держал в руках сверток бумаги в виде конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа, одно из варварских изобретений бурсы. Державший пфимфу босыми ногами подкрался к Семенову. Он зажег вату с широкого отверстия свертка, а узким осторожно вставил в нос Семенову. Семенов было сделал во сне движение, но державший пфимфу сильно дунул в горящую вату; густая струя серного дыму охватила мозги Семенова; он застонал в беспамятстве. После второго, еще сильнее дуновения он соскочил, как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Залдыхаясь, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпенье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семеновым, а когда сам Семенов очутился и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семенова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно...

1862

Бурсацкие типы. Очерк второй

Три часа утра. В спальне, именуемой Сапог, все покоится. Слышится храп и легкий бред; некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить от дурной привычки; иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовой душил. Только после усиленного взглядывания в мрак, наполняющий воздух Сапога, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода.

В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись осторожно, начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В той шубе много было паразитов, которые наконец доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и,

слернув ее с бурсака в один миг, мгновенно скрылся. Искусанное тело скраденного горело огнем, прохладный воздух освежил его, и он благодаря Аксютке уснул сладко и спокойно. Аксютка между тем успел запрятать шубу впредь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника.

Четыре часа. Вошел Захаренко. (На нем, кроме обязанности сечь учеников, лежала еще обязанность будить их и возвещать колокольчиком начало и конец классов). Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево.

Ученики вскакивали, чесали бока и овчину на голове, отплеывались, зевали и крестили рты; иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжело падали на постели.

– В баню! в баню! – провозглашал Захаренко.

– Эй, вы!.. И-го-го-го! – загреготал кто-то.

В баню пускали по утрам раным-раненько. Срам было днем выпустить в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжение всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днем отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своем распоряжении. Но об этом после.

– Живо! – крикнул спальный старший.

– Подымайся! – кто-то заревел неистовым, раздирающим уши и душу голосом.

– Грешные тела мыть! – отвечали еще неистовее.

Спальня Сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое белье, связывают узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всем весело, потому что хоть раз в две недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные, не казенные лица, а главное – день бани для бурсака был днем разнообразных промыслов и походов.

– В пары! – командовал старший.

Установились в пары.

– Марш!

Длинной вереницей отправились из спальни Сапога. На лестнице они повстречали еще своекоштных, к хвосту их пристали еще несколько номеров; у ворот их ожидали номера казенных учеников. Только городские остались в училище. Они ходили в баню дома, по субботам. Во главе ополчения стоял *Еловый*, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеей извивались по мосткам пар двести с лишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник в *келье единенной*, слыша гуденье и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода.

Ученикам повстречался рыжий монастырский сторож, до безобразия огромного роста. Сторож редко упускал случай посмеяться над бурсаками, когда бурсаки шли в баню либо по праздникам в город. Ученики насоллили чем-то ему.

– А, вот и вшивая команда! – сказал он проходившим мимо него ученикам.

– Блином подавился! – отвечали ему.

Ученикам известно было, что сторож однажды на масленице, не сходя с места, съел семьдесят три блина и выпил четверть ведра *сиводеру*, то есть водки.

– Отчего это леса вздрожали? – спрашивал сторож.

– Тебе блины пекли.

– Черти! на порку вам пошло!

– Рыжий, да ты никак на коне? Али вправду такой длинный?

– Златорунный!

– Веха!

– Каланча!

На сторожа градом сыпались насмешки. Где ж одному человеку переговорить более двухсот крепко острящих бурсаков? Он едва успел вставить свое слово:

– Слышь, паршивая команда, не воровать на базаре!

В него *Сатана* пустил ком грязи. Сторож стал лаяться на чем свет стоит.

Когда проходили последние пар семьдесят, затеялась оркестрованная брань.

– Блин, блин, блин! – запел кто-то.

Сторож не знал, что предпринять; голосу его не было слышно. Когда мимо его прошли все, когда слово *блин* раздавалось далеко, он крикнул вслед утекающей бурсы:

– Сволочь отпетая! Всех вас перепороть следует!

Издали откуда-то едва слышно донеслось:

– Бли-и-н!

Сторож плюнул; ударили в колокол, он перекрестился набожно и пошел к утрени.

Бурса двигалась, большинство правым плечом вперед, по базару. Город спал еще. Бурсаки рассыпали целую серию скандалов. Собаки, которых такое обилие в наших святорусских городах, ищут спозаранку, чем бы напитать свое животное чрево; бурсак не упустит случая и непременно метнет в собаку камнем. Шествие их знаменуется порчею разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить. Вон *Мехалка* раскачал тумбу, выдернул ее из земли и бросил на середину улицы. Хохоchet животное. Идут ученики мимо двора с окнами в нижнем этаже и барабанят в рамы, нарушая мирный сон горожан. Старушка плетется куда-то и, повстречавшись с бурсой, крестится, спешит на другую сторону улицы и шепчет:

– Господи! да это никак бурса тронулась!

Хорошо, что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей *смазь*, и *верховую*, и *боковую*, и *всеобщую*.

Едет ломовой извозчик. Аксютка пресерьезно обратился к нему:

– Дядя, а дядя!

– Чаво тебе? – отвечал тот благодушно.

– А зачем, братец, ты гужи-то съел?

Крючники, лабазники и ломовой народ терпеть не могут, когда их обзывают гужеедами.

– Рукавицей закусил! – прибавил кто-то.

Мужик озлился и загнул им крутую брань.

Когда шли по берегу реки, на которой уже стояли весенние суда. Сатана сделал предложение:

– Господа, крикнемте «посматривай!».

– Начинай!

Сатана начал, и вслед за ним пастей в сорок раздалось над рекой: «посматривай!».

На барках мужики с переполоху повскакивали, не понимая, что бы значил такой громадный крик. Когда они разобрали, в чем дело, начали ругаться; слышалось даже:

– Эх, ребята, в колье их!

На это им ответом было:

– Тупорылые! Аншпуг съели!

– Посматривай! – хватили бурсаки что есть силы.

Над рекой повисла крепкая ругань.

Наконец под предводительством солдата-педагога Елового ученики добрались и до торговых бань. Пары остановились. Еловый у двери пропускал по паре, выдавая казеннокоштным по миньютюрному кусочку мыла. Своёкоштным не полагалось. Затем пары отправлялись в предбанник, по дороге покупая веник и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикам. Пары бегом бежали одна за другой, бросаясь в двери предбанника. В дверях была давка: всякий спешил захватить шайку, которых не хватало по крайней мере для третьей части учеников, вследствие чего они должны были сидеть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этом Аксютка с Сатаной, разумеется, были с шайками. Через четверть часа баня наполнилась народом, огласившим воздух беспшабашным гвалтом. Негде было яблоку упасть; все скамейки заняты; иные сидят на полу, иные забрались в ящики, устраиваемые для одежды моющих. Старшие, цензора и прочие власти занимают отдельную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержателем для лиц почетных. Дети, потешаясь, хлещут друг друга ладонями по голому телу. Большинство отправилось в паровую баню. Бурсаки страстно любят париться. Полок брали приступом; изредка слышались затрещины, которых бурсак вкушает при всяком случае достаточное количество. Тавля стащил кого-то за волоса, со *своего*, как он говорил, места.

– Катька! – кричит Тавля.

– Что? – отвечает тот подобострастно.

– Поддай еще!

– Не надо, – отвечают голоса.

– Я вам дам не надо!

– А в *рождество* (лицо) хочешь?

Это был голос Бенелявдова. С ним Тавля не стал разговаривать. Он опять кричит:

– Катька! встань предо мной, как лист перед травой!

Катька явился.

– Окати меня.

Окатил.

– Парь меня!

Катька парит его. Тавля от удовольствия страшно грегочет.

На полке продолжалась возня; стонут, грегочут, визг с присвистом и хлест горячего березняка. Вот пробирается несчастный Лягва. Он был пария бурсы. У Лягвы какое-то скверное, точно гнилое лицо, в пятнах, рябое; про это лицо бурсаки говорили, что на нем ножи точить можно. Куда он ни приходил, воздух делался противным и вредным для легких, потому что этот запах у него был и за пазухой, и на спине, и в карманах, и в волосах. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человеком, было просто живое и ходячее тело человеچه. Проклятая бурса сгноила Лягву, буквально сгноила Лягву. Товарищи не то чтобы ненавидели его, а чувствовали к нему отвращение, и даже редко кто находил удовольствие обижать его. Не поверят, что из пятисот человек в продолжение восьми лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тело: это в собственном смысле надо понимать. Он должен был по приговору начальства и товарищества жить и ночевать в спальне, которая была отведена для таких же, как он, отторженников бурсы, двенадцати человек. Дело в том, что были ученики, страдавшие известною болезнью, которая в детском возрасте не составляет еще болезни, а зависит от неразвитости организма. Никто о них не заботился, не лечил. Бурсацкая казна не купила для них даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили; вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение в училище сечь голенищами. Честное слово, что в тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах. Спросят, отчего же эти ученики сами себя не жалели и не просушивали своих тюфяков по утрам? Попадая в каторжный номер, в котором приходилось дышать положительно зараженным, ядовитым воздухом, ощущать под своим телом ежедневно рой червей, быть в презрении у всех – они делались до цинизма неопрятны и вполне равнодушны к своей личности: они сами себя презирали. Вот факт: Лягва дошел до того, что глотал мух и других насекомых, съел однажды лист бумаги, вымазанный деревянным маслом, ел сальные огарки.

Лягва уныло шатался по бане, высматривая, где бы добыть шайку. Он подошел к Хорю, тоскливо и каким-то дряблым голосом проговорил:

– Дай шаечки, когда вымоешься.

Нищий второуздного класса Хорь даже по отношению к Лягве сумел выдержать роль нищего. Он отвечал:

– Три копейки, так дам.

– У меня самого только две.

– Давай их.

– Что же у меня останется?

– Ну, давай пять пар костяшек.

– У меня их нет.

– Убирайся же к черту, fraterculus (братец)!

Он подошел к Сатане, которому, кроме этого, было другое прозвище: Ipse (сам). Его никогда не звали собственным именем, и мы не будем звать его. Черти, смотря по тому, к какой нации они принадлежат, бывают разного рода. Есть черт немецкий, черт английский, черт французский и проч. Он ни на одного из них не походит. Ipse был даже и не русский черт; наш национальный бес честен, весел и отчасти глуповат: так он представляется в народных сказках и легендах. Ipse был черт-самородок, дух того ада, которому имя бурса. В качестве черта он и служил такому человеку, каков вор Аксютка. Его прозвали Сатаной за его характерец. В училище существовал нелепый обычай *дразнить* товарищей, особенно новичков. Я сейчас объясню, что это значит. Соглашались трое или четверо подразнить кого-нибудь. Они приставали к своей жертве. Сначала насмеялись над ней и ругали ее, потом начинались пощипыванья, наконец дело кончалось швычками, смазками, плюхолодействием. Задача таких невинных развлечений состояла в том, чтобы довести свою жертву до бешенства и слез. Когда цель достигалась, мучители с хохотом бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвения и остервенения: так *Asinus* (осел) прошиб кочергой голову *Идола*, который вывел его из себя. В такого рода потехах всегда принимал деятельное участие Сатана; вряд ли был другой мастер *дразнить*, как *Ipse*. Он решался раздражать даже тех, кто был сильнее его. Назойливее, неотвязчивое Сатаны трудно себе представить что-нибудь. Иногда он систематически привязывался с утра до вечера, в продолжение трех дней и более, не давая ни на минуту покоя. Его часто бивали, и жестоко, но ему все было нипочем. Он был какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка мог укрощать его, но и то потому, что Сатана благоговел перед бурсацким гением Аксютки.

К такого рода господину обратился с просьбою о шайке Лягва.

– А вывернись! – отвечал ему Сатана.

– Мне не вывернуться.

– Волоса ведь мокрые?

– Я не окачивался.

– Окатись! вот и шайку дам.

– Нет, не могу.

Лягва встал в раздумье, не зная, вывернуться или нет. Когда предлагали *вывернуться*, то ученик подставлял свои волоса, которые партнер и забирал в пясть. Ученик должен был высвободить свои волоса. Державший за волоса имел право запустить свою пятерню только раз в голову товарища, и когда мало-помалу освобождались волоса, он не имел права углубляться в них вторично. Мокрые волоса многие вывертывали очень ловко. Впрочем, бывали артисты, которые решались вывертываться и с сухими волосами: к числу таких принадлежал сам Сатана. Ipse, видя, что Лягва не решается, сказал:

– Ну ладно, подожди, только вымоюсь.

– Вот спасибо-то! – отвечал Лягва радостно.

Он носил воду Сатане, окачивал его, стараясь выслужиться и получить шайку; наконец Сатана вымылся, и Лягва с радостным выражением лица протянул руку к шайке.

– Эй, ребята! – закричал Сатана.

– Что же ты, Ipse?

Но голос Лягвы вопиял, как в пустыне. Человек пятнадцать налетело на призыв Сатаны.

– На шарап!

Сатана покати́л шайку по скользкому полу. Все бросились на нее самым хищным образом.

Толкотня, шум, ругань и затрешины.

Наконец, когда вымылись многие, шаек освободилось достаточное количество. Лягва добыл шайку и начал с ожесточением намыливать голову, но лишь только волосы его и лицо покрылись густой пеной мыла, как Сатана, вернувшийся зачем-то в баню, вырвал у него шайку и сделал ему смазь всеобщую. Лягва в испуге раскрыл широко глаза, пена пробралась за ресницы, и он ощутил в них едкое щипанье, но делать было нечего; прищуриваясь и протирая глаза, он добрался кое-как до крана и промыл здесь их.

Между тем многие уже вымылись; сделалось гораздо тише в бане, хотя и слышны были иногда греготанье, брань и проч., что читатель, ознакомясь несколько с бытом бурсы, сам уже может вообразить себе.

Перейдемте в предбанник. Гардеробщик выдавал казенным белье. Ученики отправлялись в училище не парами, а кто успел вымыться, тот и убирался восвояси.

Вот тут-то и наступал праздник бурсы.

– Теперь, дедушка, следует *двинуть от всех скорбей*, – говорил Бенелявдов Гороблагодатскому.

– То есть *столбуху водки*, яже паче всякого глаголемого бога или чтилища?

– В *Зеленецкий (кабак) дерганем*.

– Только вот что: первая перемена *Долбежина*.

– Так что же?

– Заметит – *отчехвостит* (высечет).

– С какой стати он заметит?

– Развезет после бани-то *натошак*.

– А мы сначала потрескаем, а потом разопьем одну лишь *штофендию*.

– А, была не была, идет!

– Так *наяривай* (действуй), живо!

При банях всегда бывают торговцы, которые продают сбитень, молоко, кислые щи, квас, булки, сайки, кренделя и пряники. Здесь идет великое столованье. Человек двадцать едят и пьют. Второкурсные бесстыдно, а напротив – важно и с сознанием своего достоинства, пожирают и пьют чужое. Докрасна распаренные лица бурсаков дышат наслаждением. Нищий второуездного класса Хорь шатается между гостями и, по обыкновению, *кальячит*. Ему сегодня везет: там ему отщипнут кусочек булки, здесь он просит: «дай, голубчик, разок хлебнуть» – и ему дают благосклонно, после чего датель продолжает пить из того же стакана. Только аристократы заседают в трактире, виноторговле или кабаке, смотря по вкусу и расположению духа. Огромное большинство не может полакомиться и *двухгрошовым* стаканом сбитня или полторакопеечною булкою. Оно смотрит с завистью и жадностью на угощающихся, особенно, на второкурсных, и щелкает зубами. Из этого большинства выделилась довольно большая масса учеников, которые не останавливались глазеть около лавочки предбанника или *кальячить*, а отправлялись на промысел, высматривая по улицам и базару, нельзя ли где-нибудь что-либо стянуть. Аксютка, однако, успел стащить сайку в лавочке же.

Шли кучками и вразбивку ученики. В эту минуту вся торговля окрест трепетала. Надобно заметить характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительным только относительно товарищества. Было три сферы, которые по нравственному отношению к ним бурсака были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера – товарищество, вторая – общество, то есть все, что было вне стен училищных, за воротами его: здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести; позволялось красть только съедобное: поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного – ничего, а украсть, хоть бы на стороне, деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе мерзостью. Третья сфера – начальство: ученики гадили ему злорадно и с местию. Так сложилась бурсацкая этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянул сайку, никто из видевших его товарищей не остановил его: то было бы в глазах бурсы фискальством. Теперь также понятно, отчего это в бурсацком языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи: вот откуда все эти *сбондили, сляспили, сперли, стибрили, объегорили* и тому подобные.

Наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать.

Главными героями были Аксютка и Сатана – *единый* и как бы *единственный* (выражение из одного нелепого, варварским языком изложенного учебника бурсы).

– Сатана!

– Что тебе?

– Ipse! – крикнул Аксютка.

– Да что тебе?

– Потирай руки!

– Значит, на левую ногу можно обделать (надуть кого-нибудь, украсть)?

– Уж ты помалчивай.

– *Купим на пятак, сожрем на четвертак!*

– Вот тебе гривенник, – сказал Аксютка.

– Что расщедрился вдруг?

– Пойдем в мелочную: видишь, отворена уж. Ты торгуйся, да, смотри, по мелочам; муки, скажи, для приболтки в суп, на *кипеечку* (копеечку), цикорьицы на грош, перечку на кипеечку, лучку на грош, клею на кипеечку, махорки на грош, леденчиков и постного маслица уже на две.

– Во что же масла-то брать?

– Да ты Сатана ли? Ты ли мой любезный Ipse?

Аксютка сделал ему смазь всеобщую. Сатана не рассердился на него, предвидя поживу. Он только, по обыкновению, сделал из фалд нанкового сюртука хвост и описал им три круга в воздухе, приговаривая:

– Я Ipse.

Аксютка стал объяснять ему:

– По мелочам будешь брать, дольше времени пройдет. Когда спросишь маслица, скажи, что забыл дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки.

– Облапошим! Аксен, ты умнее Сатаны!

– Ты должен звать меня: Аксен Иваныч.

Сатане была пожалована при этом смазь. Сатана вытянулся во фронт, сделал себе на голове пальцами рожки, сделал на своей широкой роже смазь *вселенскую* и в заключение вернул хвостом трижды. Прозвали его Сатаной, и недаром: как есть сатана, с хвостом и рогами.

План их вполне удался. У Аксютки через четверть часа оказалось краденого: две булки, банка малинового варенья, краюха полубелого хлеба и десятка два картофелю. Ноздри Аксютки раздувались, как маленькие паруса, – всегдашний признак того, что он либо хочет украсть, либо украл уже.

– Теперь, скакая играше веселыми ногами, в кабачару! – скомандовал невинный мальчик Аксюша.

Другое невинное дитя, мальчик Ipse, скорчил рожу на номер сельмой, на которой выразились радость и ободрение.

– Знаешь, что я отмочил?

– Что?

– Наплевал в кадучку с капустой.

– И-го-го-го! – заржало *сатанинское* горло.

Училищный и уличный тать Аксютка был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума, но его сгубила бурса (впрочем, отчасти и домашнее воспитание), как она сгубила сотни и сотни несчастных людей. В самой системе и характере его воровства сказались сильная натура, – сильная, но погибая нравственно. Он воровал артистически. Этот каторгорожденный не мог стянуть без того, чтобы зло не подшутить над тем, у кого он крал. Когда он забирался в сундук, *ляпсил* булку, *тибрил* бумагу, *бондил* книгу и проч., – где бы другому бежать, а он не то: он сходит за камнями или грязью и накладает их в сундук вместо краденого. Иные, зная его как вора и желая задобрить (случается, у нас и не в бурсе задобривают воров, чтобы они не нагадили), приходили к нему с приношениями, но он отказывался от приношений, играя роль честного человека, которого оскорбляет взятка. Вот пример. Прислали из деревни одному ученику мешочек толокна. Он знал, что Аксютка видел присылку, и был вполне убежден, что Аксютка украдет толокно; поэтому ученик забежал к Аксютке с акциденцией, предлагая ему около двух горстей толокна. Аксютка сказал: «Я не могу есть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка пожелал сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищ задвинул в парту мешок с толокном, Аксютка подкрался легче, нежели блоха скачет по полу, под парту *толоконника* и выкрал мешок. Сряду же после этого он подошел к *толоконнику* и умиляющим голосом сказал ему: «Братец, ты обещал мне толоконца, так дай». Тот полез в парту: толокна не оказалось. Аксютка обругал его, сказав: «Свинья! обещал, а не даешь; я за это тебе отплачу!» – отвернулся; ноздри его раздувались, как паруса, а на роже отсвечивалось сознание своей силы в воровстве. Через полчаса он подошел к окраденному им товарищу и сказал: «Не хочешь ли толоконца?». Аксютка держал на ладони толокно. «Это мое?» – «Нет, мне самому мамаша прислала». – «Скотина, ведь у тебя и матери-то нет!» – «Я говорю про крестную мамашу». Таков был Аксютка. Особенно он был искусник *меняться ножами*. Здесь мы опишем еще один характеристический обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричал: «С кем ножичками меняться?». Когда выискивался охотник на меню, тогда между ними начиналась следующая проделка. Оба они выставляли напоказ друг другу только концы ножей; тогда следовало угадать, стоит ли решаться на меню, чтобы вместо хорошего ножа не пришлось получить дурной. Вот

в этом-то деле был особенно искусен Аксютка.

Мы убеждены, что его участь – каторга. По исключении из училища он сначала поселился на постоялом дворе, где за три копейки суточного жалованья, при ночлеге и харчах хозяйских, он рубил капусту, таскал дрова, топил печи, месил хлебы и тому подобное. Но ему скоро наскучил честный труд, он обокрал своего хозяина и утек от него. После того его встречали один раз в подрянике, другой – в тулупе, третий раз во фраке, – словом, он из училищного вора сделался всесветным мошенником. Напрактиковавшись в *девятой школе* (так древними бурсаками называлась школа жизненного опыта, которая следовала за восьмиклассным обучением в бурсе), он поступил на службу в качестве дьячка, но скоро за пьянство и буйство (он расшиб стекла у городничего) был сослан на тяжелую работу в какой-то бедный монастырь. Выдержав курс церковного покаяния, Аксютка поступил в соборный хор певчим, но его протурили оттуда едва ли не за разбой. Аксютка при этом должен был переменить духовное звание на мещанское. Самое важное дело Аксютки то, что он хотел зарезать бывшего своего благочинного. По этому делу он был оставлен в подозрении. Страшен этот человек, но наперед можно сказать, что ему осталась одна торная дорога – Владимировка, по которой идут сотни наших каторжников, и посреди этих сотен Аксютка будет один из самых отпетых.

Теперь мы будем продолжать о других.

Хищная бурса рассыпалась повсюду.

Старая оборванная баба, бывшая некогда камелией низшего сорта, которых прозвище – ночные крысы, торгует для поддержания своего дряхлого тела ободранными лимонами, растрескавшимися как сухая глина, пряниками, серо-пегими булками и другим неудобоваримым отребьем. Когда она завидела возвращавшуюся домой бурсу, то, как мать, защищая свое детище от волка, она прикрыла гнилое сухоястие грязной тряпицей и дырявым передником.

Ее однажды обокрали, но теперь бурсакам не удалось утащить ни одной черствой булки из-под вретлица отживающей женщины. Бурсаки на этот раз ограничились одной лишь бранью с несчастной женщиной.

В другом месте промыслы учеников были удачны.

Сапеки открыли длинное и широкое окно. На досках дышат легким паром только что испеченные сайки. Хотя зоркий воровской глаз бурсаков сразу же заметил, что тут трудно было поживиться, но ученики все-таки обнюхивают местность и вот с радостью делают открытие, что в другом отделении саечной пекарни на досках разложено сырое тесто. Сапеки не ожидали нападения с этого пункта и не защищали его от воров. Бурсаки, под предводительством хищного Хорька, прокрались в пекарню и стали хватать тесто, торопливо пряча его в карманы сюртуков и брюк. Едва они слышали шаги сапеков, мгновенно скрылись, и через минуту их не было даже на базаре. Спросят, к чему бы ученикам нужно было сырое тесто: неужели они съедят его сырым? Нет, они ухитряются спечь его на вьюшках в трубах поутру топленных печей, и хотя оно выйдет с сажей – ничего! Бурсаку и то на руку.

Теперь расскажем еще событие.

Трое великовозрастных зашли по дороге к певчому, своему исключенному товарищу. Певчего нашли они лежащего на постеле и страдающего похмельем. К нему в то время должен был зайти сапожник, затем чтобы получить с него долгу три рубля. Певчий накануне того дня с клятвою и божбою обещался ему заплатить непременно, но из запасных денег у певца осталось около половины.

– Что, братцы, делать? – вскричал встревоженный певчий.

– Живо сюда! – отвечал ему один из великовозрастных.

– А что?

– Объегорим. Ложись сейчас на стол.

– Зачем?

– Не разговаривай, а ложись.

Поставили стол в переднем углу, под образами. Певчий улегся на стол, в головах его зажгли восковую свечку, покрыли его белой простыней; один великовозрастный взял псалтырь, подошел к певчему и сказал ему:

– Умри!

Тот притворился мертвым. Бурсак стал читать над ним псалтырь, как над покойником, скорчив великопостную харю.

Вошел сапожник и, услышав монотонное чтение, понял, что в доме есть мертвый. Он набожно перекрестился.

– Кто это? – спросил он.

– Товарищ, – отвечали ему печально.

– Который это?

– Барсук.

Сапожник сначала почесал в затылке, подумав про себя: «Эх, пропали мои денежки!», но потом умилился духом и сказал бурсакам:

– Ведь вот, господа, за покойником-то долгишко остался, да уж Бог с ним: грех на мертвом искать.

– Вот и видно доброго человека! – было ответом. – Его, признаться, и похоронить не на что. Начал, брат, ты доброе дело, так и кончил бы: дай что-нибудь на поминки бедному человеку.

Сапожник вынул полтину и подал им. Те благодарили его.

Сапожнику, естественно, захотелось взглянуть на мертвого. Он, перекрестясь, проговорил:

– Дай хоть взгляну на него.

Барсук до того притворился мертвым, что хоть сейчас тащи на кладбище. Открыли его лицо: с похмелья оно было бледно и имело мертвенный вид.

Сапожник, по православному обычаю, приложился губами ко лбу певчего, а тот, сделав под простыней фигу, думал про себя:

«Вот те кукиш! а не свечка».

Когда сапожник удалился, мертвый воскрес и с диким хохотом вскочил на стол.

– Теперь, ребята, поминки справлять.

– Четвертную!

– Огурцов да селедку!

То и другое было мигом добыто, и, поя разные духовные канты, перемешивая их смехом и остротами, справляли поминальную тризну о упокоении раба божия Барсука.

Бурсаки с торжеством и гордостью передавали друг другу рассказ об этом событии.

Но дело этим не кончилось.

Спустя месяц времени сапожник встретил под вечер Барсука.

Барсук и тут нашелся.

Скрестив руки и сверкая глазами, он грозно приблизился к сапожнику и диким голосом возопил:

– Неправедные да погибнут!

Сапожник растерялся: ему представилось, что он видит покойника, который воротился с того света, чтобы наказать его за то, что он дерзнул прийти к мертвому и требовать от него свой долг. Он перекрестился и с ужасом бросился бежать куда глаза глядят. Долго он потом рассказывал, как являлся к нему мертвец и хотел утащить его едва ли не в тартарары.

Этот случай еще более утешил бурсу.

Последний скандал из банных походов бурсаков.

Мехалка, воровски пробираясь по базару и увидев, что в пряничной лавке отворена дверь, заглянул в нее. Он увидел в ней торговца, который стоял в дальнем углу, к двери спиной. Мехалка был не тактик, а стратегик и, много не рассуждая, стремительно бросился на пряник из стычных ковриг, который был величиною с добрую доску, и потом выбежал вон из лавки. За ним с криком «грабят!» устремился торговец. Мехалка, обремененный ношею, бежал медленно и был в опасности человека, которого сейчас треснут по шее. Он употребил следующий стратегический прием: выждал приближения к себе торговца и, неожиданно обернувшись к нему, поднял над головой ковригу и ударил ею в лицо торговца. Потом пустился с обломком ковриги, оставшимся в его руках.

Мехалка был замечательная личность. Это не вор, а чисто разбойник. Известно было, что он, выходя из церкви, схватил попавшуюся ему навстречу собачонку и расшиб ей голову о тумбу, а потом закусил свой подвиг сальной свечою. За то хотели его отпороть не на живот, а на смерть. Но по случаю страстной недели и пасхальной экзекуция была отложена до Фоминой. Когда наступил день возмездия и под предводительством смотрителя вошли в класс четыре солдата с огромным количеством розог, у Мехалки засверкали глаза, как у дикого зверя, и он, энергически сжав кулаки и стиснув зубы, бросился к отворенному окну и вскочил на подоконник с быстротою кошки. (Класс был во втором этаже).

– Только подступись, размозжу себе голову о камни! – вскричал он. На убеждения смотрителя покориться он отвечал, что бросится с высоты второго этажа и тем накажет начальство. Смотритель плюнул и ушел. Мехалке за такие дикости вручили волчий паспорт.

Известно, что впоследствии он, Аксютка и еще один артист нанялись в кузницу чернорабочими. Мехалка, работая здоровым молотом по наковальне, добывал себе грош на свой образец, вместе со своими товарищами. Забрался он на соседний двор, разломал там извозчичьи дрожки и все железо утащил к себе в кузницу. Карьера его кончилась дьячеством, и он сделался истинным мучителем своего священника.

Вот вам, господа, веселая картинка бурсацкой бани, в повести о которой одни лишь голые факты. К ним нечего прибавлять, они сами за себя говорят.

После бани бурсаки, поев всего краденого, были в добром расположении духа; меньше раздавалось швычков и подзатыльников, реже творилось всеобщих смазей, и вообще в классе сравнительно было довольно тихо и скромно.

В Камчатке собралось несколько человек и ведут беседу о старине и древних героях бурсы.

Митаха занимал среди них первое место.

- Эх, господи! то ли дело было в старину!
- В старину жилали деда веселей своих внучат.
- Зато, брат, и пороли, – сказал Митаха.
- А что?
- Да вот вам случай.
- Расскажи, брат Митаха, расскажи.
- Только чур не перебивать.

Митаха начал:

– Были у нас три брата: Каля, Миля и Жуля. Это были силачи тогдашнего времени и обыкновенно занимались питьем сапогов. Они однажды отправились в город с товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на стороне. Кутнули добре. Когда шли назад, то орали песни на пять улиц и встретились с казаками. Те пригласили их молчать. Наша братия ругаться. Драка. Бурсаки отдули казаков на обе корки и утекли в училище, будучи уверены, что их дело шито-крыто. Ан нет: на другой день начались розыски. Все всплыло наружу. Вот была порка-то! Драли тогда под колокольчиком, среди двора, слева и справа, закачивали штук по триста.

– Братцы, я вот тоже знаю... – заговорил один.

– Сказано, не перебивать! – ответили ему.

– Сволочь!

– Животина!

– Мазена!

Замечательно, что в бурсе Мазена было ругательное слово, и, вероятно, основание тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы из пятисот человек вряд ли пятеро знали о существовании Мазепы. Здесь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли мазенами толсторожих. В бурсе все своеобразно и оригинально.

Бурсак, перебивший рассказ, замолчал.

– Ну так что же, Митаха?

– А вот слушайте. Собрались все ученики на двор, пришел инспектор, явились сторожа, и принесена огромная куча распаренных лоз. Каля, Миля и Жуля стояли в толпе. Им, братцы, успели товарищи вкатить перед сечением по полштофу водки. Растянули Калю, потом Милю, потом Жулю. Но хотя и драли их пьяных, хоть они и закусывали себе руку до крови, однако после порки их отливали водой и на рогожке стащили в больницу замертво. Вот так чехвостили!

– А зачем они закусывали руку?

– Фаля!

– Бардадым!

– Ведь закуси руку, так оттягивает: укусишь руку – руке больно, а сзади и не слышишь в то время.

– Тогда же, братцы, вышел дивный случай.

– Ну-ка.

– При этой страшной порке был один приходский ученик, только что привезенный из дому, которого мамаша гладила по головке, а здесь он увидел, что гладят по другому месту. Он был мальчик худенький, маленький, бледненький – одним словом, вовсе не бурсак, а сволочь. Как он увидел такую знатную порку, так чуть не умер со страху. Он стал учиться отлично и каждый шаг следил за собою, чтобы не заслужить розгу. Когда секли кого-нибудь, он дрожал и бледнел. Учитель заметил это и возненавидел его, потому что терпеть не мог, когда кто-нибудь сильно кричал под лозами. Учителю захотелось попробовать, каков новичок под розгами. Придравшись к какому-то случаю, он отпорол новичка так, что тот долго после того таскал из тела своего прутья. Ученик после порки упал в обморок. Этим он окончательно вооружил против себя учителя, который стал преследовать его и каждый раз порол жестоко. Ученику до того тяжело было жить, что он решился бежать из училища. Его поймали. Тогда он сначала хотел повеситься, но потом решился на следующую штуку. Дождался он ночи, достал перочинный нож, разрезал себе руку и своей кровью написал на бумажке: «Дьявол, продаю тебе свою душу, только избавь меня от сеченья».

Внимание слушателей чрезвычайно было напряжено.

– С этой бумажкой, – продолжал Митаха, – он залез ночью в двенадцать часов под печь. Что там с ним было, неизвестно. Оттуда его вытащили замертво. Он говорил, что видел черта. Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом, после чего, говорят, он был снесен в больницу, где отдал душу Богу.

Такой рассказ подействовал даже на крепкое воображение бурсаков. Разговоры смолкли, и все впали в раздумье. Ученики понимали, а в эту минуту особенно ясно сознали, что и при их житье-бытье подчас хоть продавай душу черту.

Когда впечатление несколько ослабело, кто-то спросил:

– А кто из вас, братцы, видел дьявола?

Никто не отозвался.

– А домового видел кто?

Оказалось, что домовых видели многие, а если кто сам не видел, то знал таких, которые видели. В бурсе предрассудки и суеверие были так же сильны, как и в простом народе: верили в леших, домовых, водяных, русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы. Словом, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невежество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно от суеверия.

В бурсе была даже доморощенная кабалистика. Так, почти вся бурса верила, что если вынуть из пера сухую перепонку и положить ее в книгу, то забудешь урок из той книги; если же такую перепонку положить под тюфяк спящего, то с ним случится грех, за который заставят поцеловать Лягву. Считалось дурным – книгу после урока оставить открытою, потому что урок забудешь. Когда кто-нибудь мистифицировал, говоря, что идет учитель, ему кричали: «Чего, сволочь, врешь-то? хочется, чтоб злым пришел!» Для того же, чтобы не спросил учитель, была примета у некоторых учеников держаться за какую-нибудь часть своего тела... В училище одно время был даже свой туземный колдун. Это был ученик, прибывший в местную бурсу из Киева, некто *Бегути*. Его прозвали так за то, что он, рассказывая сказку, выговаривал вместо «бежали, бежали» – «бегути, бегути». Он брался угадывать, у кого сколько в деревне коров, в семействе сестер, в кармане денег и т. д. Многие серьезно верили ему.

Кстати, мы расскажем проделку Аксютки над Гришкецом. Аксютка вот уже целую неделю

подговаривает товарищей, чтобы они показывали Гришкецу, что серьезно считают его за колдуна. Когда это состоялось, многие стали обращаться к нему с просьбой поворожить им. Гришкец сначала принимал это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, так что Гришкец наконец принял их затею за чистую монету. Тогда он перепугался и стал умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкец едва не потерял рассудка. Когда Акютка, сидя подле него в столовой, умолял Гришкеца научить его колдовать, то Гришкец обратился к инспектору с такими словами: «Я, ей-богу, господин инспектор, не умею колдовать. Возьму ли я такой грех на душу?». И он, крестясь, уверял, что Акютка врет все.

Чертовщина для разговоров бурсаков – предмет неистошимый.

Но мы, однако, незаметно перешли опять к воспоминаниям давних дней. Мы приведем два рассказа.

Ученикам было запрещено начальством купаться, и, по его приказанию, полиция преследовала бурсаков на реке. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, решил во что бы то ни стало изловить их и представить к начальству. Каля, Миля и Жуля взбесились и, взяв с собою несколько товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянул надзиратель и накрыл их на месте преступления; но они схватили его, зажали ему рот, чтобы не кричал, и потом выкупали его. После этой операции они завязали ему брюки у сапог, так что из них образовались два мешка, и набили брюки песком до самого пояса; после этого с хохотом бросили его и уткнулись восвояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться с земли. Когда его освободили, он закалялся беспокоить учеников.

Одному из товарищей надобно было справить именины, а денег было всего пять рублей. Это было летом. Идет наш бедняга со своими друзьями по берегу реки да горюет. В одном месте они натолкнулись на кучку рабочих, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. «Хлеб да соль!» – говорят. – «Хлеба-соли кушать». – «Но без водки что за еда?» – «Где же ее взять?» – «А вот деньги», – сказал бурсак, подавая на полведерную. Мужики обрадовались и тотчас добыли водки. Бурсаки напоили их допьяна, и когда они удалились спать в барку, то угнали ее и вместе с мужиками продали.

Такие рассказы и воспоминания о подвигах бурсаков ученики всегда выслушивали охотно и с полным одобрением.

Но ударил звонок, и начались классы.

Мы сказали, что начинаются классы, а начинаются они следующим образом.

– Поймал вошь! – сказал один из камчатников.

– Будет дождь.

– Я две рядом.

– Будет с градом.

– Вчетвером.

– Будет гром.

Какой-то великовозрастный ни к селу ни к городу стал подщелкивать словами:

– Раз-два – голова, три-четыре – прицепили, пять-шесть – в ряд снести, семь-восемь – сено косим, девять-десять – сено весить, одиннадцать-двенадцать – на улице бранятся.

Потом другой великовозрастный, вытянув из сапога берестяную тавлинку, затянул благим гласом какой-то кант и зарядил нос с присвистом.

В училище нюханье табаку было развито в высшей степени. Иначе и нельзя: во время занятий, на которых одна лампа о трех рожках давала свет на сто и более человек, поневоле рябило в глазах, а когда ученик заряжал понюшку табаку, то глаза его делались на несколько минут светлее. Во время классов, из которых каждый по два часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон, – и вот когда ученик понюхает табаку, то поневоле раскроет глаза. Табак был запрещен начальством, но товарищество не хотело и знать этого запрещения. Табак покупался у Захаренки, который молот его из махорки и потому продавал довольно дешево. И в отношении нюханья табаку в бурсе были свои особенности. Так, нюхали со швычка, брали перстью, но особенно замечательно, когда табак раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался в нос сильным вдыханием. Бывали пари, кто больше вынюхает в один прием, и случалось, что задорный нюхальщик, решившись на непосильную понюшку и приняв ее, падал в обморок.

До прихода учителя ученики успели сыграть в краски. Выбрали из среды себя ангела и черта, выбрали хозяина: другим участникам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни черту. Вот приходит ангел, и стучит он в двери.

– Кто тут? – спрашивает хозяин.

– Ангел.

– За чем?

– За краской.

– За какой?

– За зеленой.

– Кто зеленая краска, иди к ангелу.

В свою очередь приходит к хозяину черт, выбирает себе краску и уводит ее.

Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола ощуюю. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и черт сцепляются руками, – и вот взревели и ангелы и черти – и началась таскотня. Долго шла борьба, но черт-таки одолел.

Вдруг отворилась дверь. В класс вошел господин огромного роста, в коричневой шинели. Все смолкло. Это был учитель Иван Михайлыч Лобов. Цензор прочитал молитву «Царю Небесный». Ученики стояли, ожидая приказания сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул:

– Аксютка!

– Здесь, – смело отвечал Аксютка.

– Ты опять?

– Не могу учиться.

– А отчего до сих пор учился?

– Теперь не могу.

– К печке!.. на воздусях его!

Аксютка озлил учителя. Он с ним выделывал штуки, на которые никто не решался. Этот отчасти описанный нами вор имел отличные способности, память у него была обширнейшая, и, вероятно, он был умнее всех в классе; ничего не стоило ему прочитать урок раза два, и он отвечал его слово в слово. Учиться, значит, было легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, поддразнивая учителя назло. Его секли, но ничего не могли поделать с ним. Тогда его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего, как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую парту, и лишь только переводили, он опять запевал;

Ай, люди, люди, люли!

А в нотате все нули!

После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова повторялось сеченье. Он у Лобова несколько раз переходил из Камчатки на первую парту и обратно.

Наконец Лобов рассвирепел, и раздалось его грозное на воздушях!

Тотчас же выскочили четверо парней, схватили его, раздели, взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном положении, а справа и слева начался свист лоз.

Взвыл Аксютка, а все-таки кричит:

– Не могу учиться! ей-богу, не могу!

– Положите ему под нос книгу!

Положили.

– Учи!

– Не могу! хоть образ со стены снять, не могу.

– Сейчас же и учи!

На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться, потому что лежал под розгами, и учитель это сознавал, но все-таки продержал его висящим над книгой достаточно.

– Бросьте эту тварь.

Аксютка пробрался в Камчатку.

– Дать ему сугубое раза!

Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и зарядили ему в голову *картечи*, то есть швычков.

Взвыл Аксютка:

– Хоть убейте, не могу учиться!

Лобов имел обыкновение ходить в класс с длинным березовым хлыстом. Он поднялся с места и *вытянул* Аксютку вдоль спины, а тот взвыл:

– Ей-богу, не могу учиться!

Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжался обычным порядком. Спустя несколько времени он крикнул:

– Цензор, квасу!

Цензор отправился за квасом и принес его.

Лобов, прихлебывая из оловянной кружки квас, просматривал нотату и назначал по фамилиям, кому к печке – для сеченья, кому к доске на колени, кому коленями на ребро парты, кому без обеда, кому в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в слово, и запивая бурсацкую премудрость круто заваренным квасом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей красноватого цвета шинели. Когда спрошенный им ученик кончил свой ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно большой пирог, который стал уписывать с аппетитом. Бурсаки с жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел обычай завтракать во время класса, мешая пищу духовную с пищей телесной.

После экзаменации пяти учеников он стал дремать и наконец заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дожидаться, пока не проснется великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял – жирно, дескать, будет, – а отмечал ногтем в книжке с *энтих до энтих*, предоставляя ученикам выучить урок к следующему, то есть классу.

Что этот великий педагог в своей юности – недосечен или пересечен?

Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим. Поднялся легкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как-то в шашки, *святы* (карты), костяшки, щипчики, швычки и т. п.

Ударил звонок, учитель проснулся, и после обычной молитвы и по выходе учителя класс наполнился обычным шумом.

Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный и строг до крайности. С ним шутить никто не любил, ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнейшую обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех – и прилежных и скромных, так чтобы ни один не ушел от лозы. Его мучил бес какой-то бурсацкой зависти, когда из его класса к концу курса остались все-таки не сеченными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придраться было не к чему, но он выискал-таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс, и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбежин показался на конце училищного двора; лицо его было как-то особенно грозно (он был сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несеченных в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе.

– Елеонский (несеченный)! – крикнул, входя в класс, Долбежин.

Елеонский, трясясь всем телом, подошел к нему.

Долбежин ударил его в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь.

Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий, он смотрел бессмысленно на учителя.

– Отодрать его!

Елеонского отодрали.

Остался один только несеченный. Того, напротив, отодрал Долбежин в самом веселом расположении духа.

– Душенька, – сказал он ему, улыбаясь, – поди к порогу.

– Да за что же?

– За то, что тебя ни разу не секли.

Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.

Не осталось ни одного несеченного в классе.

Но несмотря на все это, трудно поверить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбежин сам был точно отпетый. Он, как и товарищество, терпеть не мог «городских» и одному из них дал самое неприличное прозвище; фискала, пришедшего к нему наушничать, он отодрал не на живот, а на смерть; ученики вроде Гороблагодатского были его любимцами. Однажды Блоха решился изумить товарищество и под лозами Долбежина молчал, как будто и не его дерут; Долбежин при всех назвал его молодцом, тогда как за ту же проделку Лобов вознес его на воздушных, а потом просолил насквозь сеченное тело. Долбежин не брал с родителей взяток и до того был честен, что составленный им список учеников с отметками об их учении за треть он читал ученикам и позволял устраивать диспуты тем, которые претендовали на высшее место. Вот за это-то и любили его.

Сегодня были только два случая в классе. Вызван был Копыта. Он взял книжку латинскую и хотел было остаться переводить за партою.

– На середину! – сказал Долбежин.

На середке отвечать было хуже, чем за партией, потому что в первом случае товарищи *подсказывали* ученику. Отвечающий способен был расслышать самый тонкий звук, а если не расслыхивал, то, глядя искоса, он угадывал слово по движению губ.

Копыта вышел на середку. Здесь он срезался (то же, что в гимназии провалился) и не мог перевести одного пункта.

– Не так! – сказал Долбежин.

Тот перевел иначе.

– Не так!

Копыта на новый манер.

– К печке!

Копыте дали всего десять ударов. Он обрадовался, что так легко отделался, и уже направился за парту, но услышал голос Долбежина:

– Переводи снова.

Тот перевел ему на новый манер.

– Еще раз к печке!

Копыте дали еще десять лоз и снова заставили переводить. На этот раз Копыта сказал, что он не может и придумать еще новой варьяции, за что и услышал:

– К печке!

Десять дали, и снова переводить. Копыта напряг все усилия памяти и рассудка. Ничего не выходило.

– Ну! – сказал Долбежин, и уже палец указательный его поднялся по направлению к печке.

Способности Копыты были страшно напряжены, мозг работал в сто сил лошадиных, и вот, точно озарение свыше, сложилась в голове новая варьяция. Он сказал ее.

– Наконец-то! – одобрил его Долбежин. – Довольно с тебя. Пошел за парту. Вались дерево на

дерево! – Вслед за тем Долбежин обратился к Трезорке:

– Вокабулы приготовил?

– Нет.

– Что? который это раз?

– Если угодно, приготовлю, – отвечал Трезорка бойко.

Трезорка был городской и привык к довольно свободному обращению. Его развязность взбесила Долбежина. Он побледнел, на лбу надулись жилы.

– Ах ты, подлец! – закричал он и сильной рукой поднял в воздухе здоровый лексикон Кронеберга. Лексикон взвился и пролетел через класс; еще немного – так и вцепился бы в голову бойкого мальчика. Он потом начал ругаться и плевать; в его чахоточной груди клокотала мокрота; дерзость озадачила его, но он почему-то не посмел отпороть Трезорку, – вероятно, потому, что отец Трезорки был довольно значительное лицо в городе. И действительно, завязалось было дело, но кончилось все-таки ничем.

В классе после этого скандала наступила мертвая тишина. Все дрожали. Один только беззаботный Карась, притом еще сидевший на первой парте, на глазах разъяренного учителя ухитрился уснуть. Его вдруг спросил учитель, а он, не слыша этого, тихо всхрапывал. Товарищ его толкнул, но уже было поздно: у учителя сверкали глазки.

– К печке!

– Розог нет, – сказал секундатор.

– А давеча чем сек?

– Те изломались.

– Сходи за новыми.

Карась между тем клялся и божился, что встал в три часа, чтобы приготовить урок, что у него голова болит, а в существе дела на него одурь напала от латынщины, и он смежил свои карасиные очи.

– Я тебе!

Явился секундатор, но без розог.

– Розги все вышли, – сказал он.

Учитель опять вспыхнул, поднялся со стула и отправился к той парте, где сидел секундатор. Он отыскал свежие розги. Карась запищал.

– Простите!..

Но учитель в это время позабыл Карася, а направился к секундатору. Взяв пук длинных лоз за жидкий конец, он начал бить его комлем и по спине, и в брюхо, и в плечи, и по ногам.

Раздался звонок. Пропели молитву «Достойно есть...». Между тем Карась спасся. Этот же учитель, озлившийся на Трезорку за умеренный оттенок дерзости в его ответе, прощал и даже с удовольствием встречал дерзости очень крупные. Так, однажды на публичном экзамене пришлось держать ответ некоему *Ваксе*. Долбежин из-под стола показал ему кулак и проговорил тихо: «Только срежься, я тебе!». Вакса показал ему свой кулак и прошептал непечатную брань. Это только утешило учителя.

Наконец, Долбежин был циник. Он с тем же Ваксой рассуждал о самых грязных вещах. Тот ему отвечал не стесняясь и откровенно, и оба они импровизировали самым грязным образом на разные темы.

Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Кормили скверно: хлебная мука мешалась с мякиной; нередко порции говядины летели за окно и гнили потом на дворе; один только Комедо собирал порций по шести и потреблял их; в супе попадались маленькие беловатые червячки, в каше мышинный помет; только при одном экономе пища была безукоризненна, но такие экономы были редкость в бурсе. (Впрочем, в своем месте мы дойдем и до этого эконома).

Лобов граничил по своему характеру к Тавле, Долбежин к Гороблагодатскому. Перейдем теперь к характеристике третьего лица, которое, собственно говоря, не составляло цельного типа, а было помесью двух названных нами. Этот господин носил имя Батьки.

Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым басом, лицо – кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал так называемый «Устав», то есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым странным образом. Вместо того, чтобы выдать церковные книги на руки учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым книгам, когда, что и где читалось и пелось, – вместо этого выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста с лишком учеников знало урок, случалось, только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики на зло учителю делали стачку не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим сечением класса; но тут была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вызубрить все это. И это понимал сам Батька. Несмотря на все это, он поочередно сек весь класс: так парта за партой и выдвигались к печке. Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батока заподозревал секундатора в мирволенье и шел свидетельствовать производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами: секрет в том, что секундатор намазывал лозы чернилами, потом стирал их слегка; достаточно было легкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый рубец. Черт знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось, что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случилось, отодрали четыре раза в один день (в продолжение училищной жизни непременно раз четыреста). Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом. Беда, когда Батька приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза особенно глубоки и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только он вошел. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату. Мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. Элпаху, трясась телом и содрогаясь душою, вышел на средину.

– Я... – голос его пресекался...

– Что ты? – спокойным, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил его Батька.

– Я... сегодня... именинник...

– Так с ангелом! – Октава его упала на две ноты ниже, а сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты... Страшен он был в эту минуту.

– Я... – заговорил страдалец, – был в церкви...

– Доброе дело!

– Я потому и не успел выучить урока... – погасающим голосом продолжал Элпах, видя, как с мертвенно бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной ненавистью глаза...

– Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?

Элпах молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Элпах ждал, что будет.

– Он плачет о твоей лени.

Элпах ни жив, ни мертв.

– И ты должен плакать. Поди сюда.

Элпах ни с места.

– Поди же сюда! – тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька.

Элпах подошел к нему.

– Встань тут, около меня, на колени.

Дрожащий Элпах встал.

– Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени.

Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками.

– Лежи, лежи! – сказал ему Батька.

Отчего вскрикнул Элпах? А оттого, что Батька взял щепоть волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волосы и продолжал дуть, пока они летели в воздухе.

– Лежи, лежи! – повторил Батька.

Элпах с воем опустил голову на колени его, как на эшафот...

Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос, и опять выдернул их с корнем, и опять пустил их по воздуху.

– Простите, ради Бога! – взмолился страдалец.

– Лежи, лежи! – отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах...

Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз.

Элпах рыдал мучительно.

– Теперь поди встань на колени посреди класса! – сказал Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.

Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?

– Стой на коленях целый год!

Значит, совесть его была спокойна. Батько имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц; как его класс, так и становись. Беспощадный человек!

В продолжение всего класса Батяка разбойничал. Чего-чего он не придумывал: заставлял кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченного, одно слово – артист в своем деле, да под пьяную еще руку.

Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь – скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрее люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я все исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться, – только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков восемь, и бурса, даст Бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками – «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», – то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.

1862

Женихи бурсы. Очерк третий

Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Один лишь Аксютка щелкает зубами.

Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него *по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют*. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в *нотате с пятками*, то есть самыми лучшими баллами.

Это только сбесило учителя: «Ты, животное, – сказал ему Лобов, – потешаешься надо мною: когда тебя порют, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку – пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья, – сказал он, – сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «посмотрим, чья возьмет!». И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «и сегодня не жри!».

В продолжение трех дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть хлеба, толокно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в *сбитенную*, где Ванька рыжий продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, крендели, яблоки, репу, патоку, мед и красную икру, а для избранных и *водчонку*, разумеется по двойной цене против откупной; здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесенные из дому; а при безлюдстве в сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятавали ломти хлеба

и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом; впрочем, и делиться было не с чего: утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось; за обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедался в столовой, а другой уносился в кармане в запас.

Между тем все училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снега. Снежные комы величиной в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них, под командою вожака, работало человек по десяти. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит бурса вниз головой на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиной. Бурсаки представляют веселый и радостный вид: раздается команда выбранного распорядителя, призыв к работе, звонкие басы и тенора, хохот, остроты. Весело.

Аксютка щелкает зубами.

На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют в килу – кожаный, набитый волосом мяч величиной в человеческую голову. Две партии сходились стена на стену: один из учеников вел килу, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось *бить с носка* – при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось *бить с закилька*, то есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогонять его *до города* – назначенной черты. Нарушающему правила игры *мылили шею.*

– Кила! – закричали ученики: это означало, что город взят.

Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место. Им весело.

Аксютка же щелкает зубами.

В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своем брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причем вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили Сашкеца на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит одна лишь голова Сашкеца, – он беззащитен, и творят ему *смазь вселенскую.* Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет, – это была шутка любовная. Всем весело.

Аксютка щелкает зубами.

На двор училища вошли две женщины – одна старуха, другая лет тридцати с лишком. Спросивши где живет инспектор, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездой. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожженное летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар; маленькие глазки ее бегали, как две перепуганных мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина была лет тридцати двух, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками; она смотрела исподлобья с тем беспристрастием, с которым смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни и с чем они примирились. Одета она в новую заячью шубку, в новый платок, и на ногах ее не сапоги, а башмаки козловые.

Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа.

– Что вам надо? – сказал он грубо.

Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голоса у нас по покойникам, стала приговаривать:

– Батюшка, отец родной... Ох, кормилец, наше горе большое... лишились последнего хлебушка... батюшка, не погневайся!..

Старуха стукнула в пол головою.

Такое раболепие смягчило несколько инспектора; но дурное расположение его духа не миновалось окончательно.

– Говори, зачем пришли...

Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:

– Помер голубчик наш... пришибло сердечного... испил кваску, сначала таково легко...

Инспектор вышел из себя:

– Чтобы черт вас побрал, паскудные бабы! – крикнул он, топнув ногою...

Обе женщины замерли...

– Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадут...

– Батюшка!.. – начала было опять старуха...

– Иван! – закричал инспектор. – Гони их в шею!..

Обе женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась из приемного зала в переднюю. Все это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины; теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя, но, напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпеливо старухи.

Та скоро вернулась, в одной руке с кульком, в другой – с узлом. То и другое она положила к ногам начальника...

– Что это? – спросил он.

– Не побрезгуй, батюшка, деревенским гостинцем, и...

– Покажи, что тут?

Старуха, торопливо развязывая кулек, вынимала из него сахар, чай, бутылку рому, сушеные грибы и яблоки, а в узле оказалось десятка четыре аршин холста...

Инспектор не без удовольствия, но и не без достоинства сказал:

– Хорошо, спасибо... В чем же твое дело?

– Это вот дочка моя, – говорила старуха, – сиротой осталась... были у преосвященного... закрепил за ней местечко... отцовское...

– Ну так что же?

– К тебе послал.

– За женихами?

– За женихами, батюшка, – и старуха опять чебурах в ноги.

– Хорошо, хорошо.

– Да не озорников каких, батюшка! – Старуха при этом вытянула свою руку, разжала кулак, и на ладони ее очутился серебряный рубль.

Инспектор взял старухин рубль и положил его себе в карман с полным спокойствием, точно так, как аудитор берет с подавдиторного взятку.

– У меня двое есть, а может быть, найдутся и еще охотники.

После того инспектор расспросил, где место, какие обязательства, доходы, состав причта, спросил адрес старухи и обещал отпустить учеников на другой день на смотрины невесты.

Старуха и невеста, поблагодарив инспектора, отправились восвояси. Они остановились на дворе и посмотрели на пестреющую и кишашую толпу учеников.

«Кого-то из них Бог пошлет кормильцем?» – подумала старуха.

«С кем-то из них под венец идти?» – подумала невеста.

Эта невеста была закрепленная невеста, вступающая в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду. У нас на Руси не редкость, что брак устраивается потому, что жених получит повышение по службе и приданое, а невеста пристроится, получит имя жениха и чин его. Но все это делается более или менее в приличных формах, так или иначе маскируется. И потому не поражает сильно своим безобразием и извращением честных целей брака. Случаев таких вездe немало. Но нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов. Здесь нарушение брака, извращение его узаконено и освещено обычаем. Бурсак, сеченный, быть может, раз четыреста, унижаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически часто в продолжение четырнадцати лет, наконец после такой педагогической дрессировки заслуживший диплом, дающий, по-видимому, ему право получить место в приходе, – не иначе может достигнуть этого, как обязавшись взять такую-то, по назначению от начальства, казенную, закрепленную девицу. Выходит что-то вроде того, когда, бывало, помещики женили своих крестьян, а не то чтобы крестьяне сами женились. Когда умирает то или другое лицо духовное и у него остается семейство, – куда ему деться? Хоть с голоду умирай!.. Дом (если он церковный), земля, сады, луга, родное пепелище – все должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники – представители православного пролетариата... У них нет собственности... До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит; умирает он всегда с тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих – браком. Места закрепляют, – техническое, заметьте, чуть не официальное выражение. По смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо родственницу. Кандидатам на места объявляется об открывшейся вакансии, со взятием такой-то. Начинается хождение женихов в дом невесты. Большею частью это делается на скорую руку, всегда назначается срок для выбора невесты, вследствие чего посягающие не имеют времени узнать один другого. И бывали такие случаи, что невеста, находясь за двести верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город; претендент на поповское место не имел средств и времени съездить к невесте; тогда обе стороны списывались; давалось заочное согласие, и, получивши уже указ о поступлении на место, жених ехал к невесте; при таких порядках нередко выходили скандальные столкновения – невеста попадалась старая, рябая, сварливая девчина, и жених еще до свадьбы порывался побить ее. Но когда невеста приезжала в город, так и тогда умели обделывать дела и спускали залежалый и бракованный товар с удивительной ловкостью: щеки

невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, – и рябое выходило гладким, старое молодым... Бывало и то, что до самого венца роль невесты брала на себя ее родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только в церкви по левую руку жених видел какого-нибудь монстра вроде тех древних изображений, которые в старину сначала задымляли и коптили, а потом променивали на лук и яйца. Что было делать? Бурсак, наголодавшись после бурсы вдоволь, стиснув зубы и скрепив сердце, смотрел на свою будущую сожительницу, но... махнув рукою, поступал согласно внушению Ольги, сделанному ею князю Игорю, и, стоя под венцом, думал думу, как бы в первую же ночь изломать бока своей, черт бы ее взял, подруге жизни. Нечего говорить, что при подобном надувань и фальше брак есть зло и поругание самых дорогих, самых святых прав человечества. Но когда при смотринах и сватовстве товар показывали лицом, и тогда редко-редко брак был счастливым. Если часто бывает, что после долгого знакомства брак неудачен, что сказать о том, когда он устраивался на авось... В светских искусственных браках большею частью оскорбляется и унижается женщина; но в бурсацких – и женщина и мужчина... В светских мужчина говорит: «я сыт и есть у меня имя, иди за меня – ты будешь сыта и получишь имя»; в бурсацких же не то; жених кричит: «есть нечего»; невеста кричит: «с голоду умираю» – и исход один: соединиться обеим сторонам. Все это – порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же тут винить?

Вот и дьячиха привезла по смерти своего мужа свою задеревенелую дочь и успела закрепить за ней место. Преосвященный послал ее в училище, чтобы из готовящихся к исключению выбрать жениха.

В те времена, когда в бурсе свирепствовали Лобов, Батка, Долбежин и тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто более гуманных.

К ним принадлежал Павел Федорыч Краснов.

Павел Федорыч был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек добрый, деликатный.

Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, но как это сделать?

Он и не думал изгонять розги, а напротив – защищал ее, как необходимый суррогат педагогического дела.

Но он, наказывая ученика, не давал никогда более десяти розог. Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить слово в слово, а это в бурсе почиталось едва ли не признаком близкого пришествия антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил до ответов на них, а это уже окончательный либерализм для бурсы. Увлекаясь своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих учеников. Так, мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который был бы почти съеден чесотными клещами, если бы не Павел Федорыч: он сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг его голову, сжег всю его одежду, дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова, за его болезнь, пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознес Карася и отчихвостил его на воздушных. То же самое хотел он сделать с цензором класса, парнем лет под двадцать, но цензор утек от него; тогда Лобов записал его в журнал, и дело все-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для учеников тайны, а напротив – вызывал недовольных на диспуты. Раз только случилось, что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно; но и то по той причине, что бурсак решил острить во время ответа урока самым площадным образом, а Павел Федорыч был щекотлив на нервы. Словом, Краснов как частное лицо неоспоримо был честный и добрый человек.

Но посмотрите, чем он был как учитель бursы.

– Иванов! – говорит он.

Иванов поднимается с заднего стола бурсацкой Камчатки, за которою Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих *почивать на лаврах*, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не столько сеченьем, сколько систематическим преследованием; и вот это-то преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось иезуитством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но все-таки говорит:

– Прочитай урок, Иванов.

Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же Краснов, что у меня в нотате ноль... что же спрашивает? – только мучит!».

– Ну, что же ты?

Иванов молчит... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на врату бурсака, ей же богу, не виснет; а теперь Иванов поставлен в комическое положение: над его замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка против начальства – товарищество – для него не существует в это время.

– Ты здоров ли? – спрашивает ласково Павел Федорыч.

Сбычившись и выглядывая исподлобья, Иванов говорит:

– Здоров.

– И ничего с тобой не случилось?

– Ничего.

– Ничего?

– Ничего, – слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным голосом.

– Но ты точно расстроен чем-то?

От Иванова ни гласа, ни послушания.

– Да?

Но Иванову точно рот зашили.

– Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мне урок.

Наконец Иванов собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает:

– Я... я... не... зна-аю.

– Чего не знаешь?

– Я... урока.

Павел Федорыч притворяется, что недослышал.

– Что ты сказал?

– Урока... не знаю! – повторяет Иванов с натугой.

– Не слышу; скажи громче.

– Не знаю! – приходится еще раз сказать Иванову.

Товарищи хохочут.

Иванов же думает про себя: «черти бы побрали его!.. привязался, леший!».

Учитель между тем прикидывается изумленным, что *даже* Иванов не приготовил уроков.

– Ты не знаешь? Да этого быть не может!

Новый хохот.

Иванов рад провалиться сквозь землю.

– Отчего же ты не знаешь?

Опять начинается травля, до тех пор, пока Иванов не начинает лгать.

– Голова болела.

– Угорел, верно?

– Угорел.

– А ты, может быть, простудился?

– Простудился.

– И угорел и простудился?.. Экая, братец ты мой, жалость!

Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А мученик думает: «Господи ты Боже мой, когда же отпорют наконец» и решается покончить дело разом:

– Не могу учиться.

– Отчего же, друг мой?

– Способностей нет.

– Но ты пробовал учить вчера?

– Пробовал.

– О чем же ты учил?

Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты: хоть убей, не разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился не только что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить. Павел Федорыч, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошел к нему с вопросом:

– Что же ты не говоришь?

Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему, несчастному.

Павел Федорыч кладет на него руку. Иванов переживает мучительную моральную пытку, да и другим камчатникам вчуже становится жутко.

– Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня.

У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы – тяжела она, точно пивной котел, который только был по плечам богатыря. Между тем Павел Федорыч берет Иванова за подбородок.

– Не надо быть застенчивым, мой друг.

Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым бросаются из третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся только распеkania и порка, значит, скоро и делу конец, – напрасная надежда.

– Зачем ты забрался на Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. Ну, хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера?

Краснопевцеву что-то подсказывают.

– Шхера есть, – отвечает он бойко, – не что иное, как морская собака.

Все хохочут.

– Ну ты, Воздвиженский... поди к карте и покажи мне, сколько частей света.

Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ланд-карте, берет в руки кий и начинает путешествовать по европейской территории.

– Ну, поезжай, мой друг.

– Европа, – начинает друг.

– Раз, – считает учитель.

– Азия.

– Два, – считает учитель.

– Гишпания, – продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море, прямо к моржам и белым медведям.

Раздается общий хохот. Учитель считает.

– Три.

Но ученый муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую Гишпанию, и здесь зазимовал.

– Ну, путешествуй дальше. Али уже все пересчитал страны света?

– Все, – отвечал наш мудрый географ.

– Именно все. Ступай, вались дерево на дерево, – заключил Павел Федорыч.

Он нарочно вызывает самых ядреных лентяев, отличающихся крутым, безголовым невежеством.

– Березин, скажи, на котором месте стоят десятки?

– На десятом.

– И отлично. А сколько тебе лет?

– Двадцать с годом.

– А сколько времени ты учишься?

– Девятый год.

– И видно, что ты не без успеха учился восемь лет. И вперед старайся так же. А вот послушайте,

как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: «Диоген, увидя маленький город с огромными воротами, сказал: „Мужи мидяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушел“. Мужики по-гречески – андрес. Вот Тетерин и переводит: „Андрей, затворяй калитку – волк идет“. Он же расписался в получении казенных сапогов следующим образом: „Петры Тетеры получили сапоги“. Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое море?

– Вода.

– Какова она на вкус?

– Мокрая.

– Про Петры же Тетеры рассказывали, что он слово «махimus» переводил слово «Максим»; когда же ему стали подсказывать что «махimus» означает «весьма большой», он махнул «весьма большой Максим». Ну, а ты, Потоцкий, проспрядай мне «богородица».

– Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, оне богородицы.

– Дельно. Проспрядай «дубина».

– Я дубина...

– Именно. Довольно. Федоров, поди к доске и напиши «охота».

Тот пишет «охвота».

– Напиши «глина».

У того выходит «гнила». Таким образом Павел Федорыч потешался над камчатниками, заставляя их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было отвлечено от него. Напрасная радость: то был новый маневр, пущенный в ход учителем.

– Что, Иванов, хороши эти гуси?

Иванов опять приходит в ажитацию.

– Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями? Платонов, что такое дикарь?

– Дикий человек.

– А умеешь ты говорить по-гречески?

– Нет.

– А я слышал, что да. Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говорит: «эпсилон, зита, ита, фита». Неправда, что ли? Тогда еще пирожник назвал вас язычниками. Вот вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: «Как сказать по-латыне: лошадь свалилась с моста?» – Молодец отвечает: «Лошадендус свалендус с мостендус».

Иванов опять оживился надеждой, что его забыли.

– И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что ты не станешь спрядать «дубину», не скажешь, что десятки стоят на десятом месте, не поедешь в Ледовитый океан с какой-то «Гишпанией», зачем же ты забрался к этим дикарям?

– Простите, – шептал Иванов.

– В чем тебя простить? – И Павел Федорыч опять добивается того, что Иванов сам себе делает приговор:

– Ленился...

– Дело ли будет, если я прощу тебя?

Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительна не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел Федорыч и пускал в ход всю практическую психологию.

– Простить тебя? А потом сам же будешь бранить за это, зачем позволял тебе лениться: скажешь, не дурак же я был – учителя не хотели обратить на меня внимания.

– Простите! – говорил Иванов.

– Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться, если, чего избави Боже, тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам?

Камчатка внимательно насторожила уши.

– Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключенных воспитанников, – знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? – оно хочет верстать их в солдаты.

– Простите! – говорил Иванов, думая с тоскою: «Боже мой, скоро ли же сечь-то начнут?.. проклятый Краснов!.. всю душу вытянул».

– Я слышал за верное, что скоро набор, рекрутчина. Ожидайте беды...

Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключенных. Теперь прибавим, что такой проект начальство действительно не раз хотело осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот; оно и понятно: многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели причетниками своих детей и других родственников. Однако тем не менее грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков.

Павел Федорыч пользовался этим обстоятельством с полным успехом.

– Как же тебя простить, – говорит он Иванову, – неужели тебе хочется под красную шапку?

– Я буду учиться.

– Как же ты давеча говорил, что не можешь учиться?

Скверно на душе Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознается:

– Лгал.

Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний соглашаться – что и делалось замогильным тоном, – в том, что он должен быть наказан; потом, сколькими ударами розог. Когда ученик был доводим до истомы нравственной и едва не до полупомешательства, тогда только учитель отсылал его к печке, где и давал десять ударов розгами, причем внушалось, что ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное количество стежков по тому месту, откуда ноги растут. Решившись обратить лентяя на путь истины, Павел Федорыч всегда доводил свою работу до благоприятного результата, преследуя цель неумоимо и энергически.

– Иванов! после класса приходи ко мне на квартиру.

Пригласивши к себе на квартиру, Павел Федорыч заставляет Иванова учить урок в рекреационные часы, так что если и после этого захотел бы лениться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в праздничные дни свободной минуты – вечно под носом проклятый учебник, и лентяи со скрежетом зубным вгрызается в ненавистные отроки. Мало-помалу долбня всасывает его и поглощает всецело.

Конец ли?

Нет, все-таки не конец. Павел Федорыч сносится с другими учителями относительно неопита. Долбежин и Батька говорят неопиту: «А, голубчик, у других ты учишься, а у меня нет?.. Запорю, животное, убью!». Те учителя, в свою очередь, начинали *досекать* лентяя, каждый *до своей науки*. Что тут станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреет и навек укоренится глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но все же не за бурсацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права.

Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Федорыч, человек с сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбежин, Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбежин, Батька и Краснов поневоле прибегали к насилию нравственному и физическому. Значит, вся причина главным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей сгинуть с белого света. Мало-мальски развитый семинарист всегда вспоминает о ней с ужасом.

Камчатка *почивала на лаврах* до сего дня спокойно и беспечно; но сегодня в ней ярые толки и шум. Павел Федорыч возбудил те толки и шум своими угрозами о солдатчине. Но не на всех камчатников грозная весть произвела одинаковое впечатление. Камчатники распались на два типа по роду бурсацких наук. Науки были: божественные, которые ныне называются богословскими, и внешние, которые ныне называются светскими. Одни камчатники отрицали только *внешние науки* и с усердием занимались Законом Божиим, священной историей, церковным уставом и церковным пением. Эти специально готовились в дьячки и пономари. Представителями такого типа в особенности были двое – Васенда и Азинус. Васенда был великовозрастный, так что кончить курс ему пришлось бы не юношей; а тридцатилетним мужем. Он махнул на все рукою и принялся за божественные науки. Это был человек честный, добрый, обладавший громадною физическою силою, но, как все силачи, спокойный и сосредоточенный; но главное – он был замечательный скопидом и хозяин. Так он и выглядит кремнем-причетником, у которого хозяйство никак не будет хуже по крайней мере дьяконского. Заглянем в его ученический сундук, когда Васенда выдвигает его из-под кровати. В углу небольшой деревянный образок Василия Великого, благословение матери, вдовы-дьячихи; на внутренней стенке крышки сундука набиты два ремня, и за них вложено несколько дестей писчей бумаги; по краям, около бумаги, художественная выставка произведений конфетного и леденечного искусства: генерал, у которого нос чуть не поперек лица; голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею амур, как будто бы страдающий водяной болезнью; потом лубочная гравюра, вырезанная из «Бовы» и изображающая то, как сей богатырь побивает метлою рать несметную; далее картинка из священной истории, на которой вы можете видеть изгнание наших прародителей из рая, и тому подобные изображения; эти изображения перемешаны с леденечными билетиками; тут же, между прочим, наклепана числительница, показывающая дни и месяцы на целый год. Внутри сундука в одном углу кадушка, в которой грибы со сметаной, а в другом мешок с толокном. На дне лежат книги, все божественные, ни одной внешней – их Васенда продал, как ненужные. В другой стороне сундука аккуратно уложено чистое белье и новенькая верхняя одежда. Кроме того, под образком находится маленький ящичек, в котором хранятся его деньги, письма, новейший песенник, нюхательный табак,

пустая склянка, перочинный нож, гребенка, мыло и тому подобное. Вот вам сундук Васенды, окованный прочными железными полосами, с крепчайшим замком. У Васенды отличный дубленый тулуп и неизносимые осташи с голенищами по колено. Его скопидомство доходило даже до крайности; так, он целый год писал одним пером, едва касаясь бумаги и каждый раз бережно завертывая его в бумажку. Он уже и теперь так и выглядит степенным и практическим дьячком; и действительно, он умеет что угодно и купить и продать; походка у него важная, осташи блестят... Вот этот-то господин и был представителем лучшего типа бурсацкой Камчатки. В самом деле, из него вышел прекрасный зажиточный деревенский дьячок. Весть о солдатчине мало тревожила его: он верил в свою звезду.

Азинус был ученик высокого роста, сутуловатый, с выдавшимися лопатками на спине, на длинных ногах; широкие скулы, бойкие серые глаза и постоянно вздернутый кверху нос, вечно нюхающий что-то в воздухе, придавали лицу его выражение той хитрости, которою отличаются мелкие плуты с узким лбом. Он ходил в тиковом халате, в дырявых сапогах и в ватной шапке я зимой и летом. Азинус был сын заштатного пономаря, горького пьяницы, жившего подаянием. Мать Азинуса, бедная старуха, забитая своим мужем, переслала своего сына в училище с одним дальним своим родственником, но при этом, по неопытности или старческой рассеянности, не озаботилась передачею ему документов, необходимых для поступления в бурсу. Родственник привез Азинуса, тогда еще осьмилетнего мальчика, на огромный двор училища и пустил его на волю Божью отыскивать самому себе науку. Азинус долго ходил по двору, не зная, куда деться. К вечеру он проголодался и, увидя в восемь часов огромную массу воспитанников, примкнул к ним и очутился в столовой, где, долго не думая, принялся за щи и кашу. После ужина ученики отправились сначала на молитву, а потом по спальням, – он за ними; в спальне он нашел незанятую казенную кровать, где и уснул спокойно. Поутру он опять вместе с другими сходил на молитву, а потом попал в приходский класс; тут он водворился на задней парте. Так он прожил около трех месяцев, пока наконец учитель не обратил на него внимания. Стали наводить справки, Азинуса в списках не оказалось. Его покормили в последний раз обедом и велели убираться за ворота, на все четыре стороны. Вот так младенчество – лучшая пора нашей жизни! Он несколько дней питался милостынею, Бог знает где ночуя, пока не наткнулся на другого нищего, своего отца, который отвел сынка к знакомому дьячку, окончательно определившему маленького Азинуса в бурсу, которая его окончательно изувечила. Он сначала оказывал успехи, но скоро плюнул на все и, выжив известный период сечения, засел в Камчатку навсегда. Здесь сложился его характер, в высшей степени безалаберный. Главным его занятием были чет и нечет, юла, три листика, мена ножами и тому подобные коммерческие игры бурсы. Он сделался настоящим пыганом училища, променявая и выменивая, продавая и покупая что угодно. Деньжонки и вещи, приобретаемые им, шли у него без толку. Все ученики, остающиеся на Рождество или Пасху в училище, умели чем-нибудь запастись для праздника; Азинус же часто проедал деньги накануне его, а потом шлялся по спальням, льстил, кланялся, прислуживался, ругался и лгал выпрашивая кусок булки, яйцо или клок масла у своих товарищей. При таком характере он совершенно изолгался. До сих пор передают его рассказы. Так, он однажды говорил, что в страшную метель зимою ехал куда-то, на него напали волки. Что было делать? «Я, говорит, со страху спрятался в рожь». Когда его спрашивали, каким образом зимою попался он в рожь, тогда Азинус ругался, рассыпал смази и, свертывая из пол халата хвост, описывал им в воздухе круги. Нередко он сообщал своим слушателям о том, как он видел сам привидения, домовых, мертвецов и чертей. Но он не только, что врал, но не прочь был и стянуть что-нибудь. Однажды он путешествовал на родину, верст за полтора, с четырьмя копейками в кармане, спал в лесу, питался незрелыми ягодами, иногда заходил в харчевни, обедал в них и потом утекал, не заплативши денег за обед. Этот молодец когда прибыл на родину, то у него оставалась еще одна копейка в экономии. Азинус был во всех отношениях противоположность Васенде. Но и он не обратил внимания на весть о солдатчине, хотя это сделал единственно по безалаберности своего характера.

Вообще Камчатка, отрицающая внешние науки и изучающая только божественные, не была сильно взволнована словами Павла Федорыча. К тому были основания. Начальство смотрело на божественную Камчатку довольно благосклонно: она что-нибудь да делала. Бывали проекты (и это знали камчатники) о преобразовании священных задних парт в специальный класс, так называемый *причетнический*. И потому ученики, подобные Васенде или Азинусу, были спокойны.

Но иное совсем происходило в другой половине Камчатки. Здесь почивали на лаврах абсолютные нигилисты, отрицавшие и внешние и божественные науки. Там сидели некоторые убогие личности, которые и сами убедились и начальство убедили, что не имеют способностей и учиться не могут, хотя странно считать кого бы то ни было неспособным даже к самому ограниченному элементарному образованию. Так, был один ученик, сын финского священника, который просидел в приходском классе шесть лет и едва-едва научился читать, после чего его исключили. Его прозвище *АзбУчка Забалдырь ЕвангИлье Свитцы* – за то, что он азбуку называл азбучкой, а псалтырь – забалдырью. Такие примеры не редкость в бурсе. Столько же времени и в том же классе сидел Чабря. Иные до второуздного класса доплетались только через четырнадцать лет – время, которого достаточно для того, чтобы приготовиться на степень доктора какой угодно науки, срок, который одним годом только меньше нынешней солдатской службы. Эх, бедняги, какую ж лямку вы тянули: солдатскую, а вас еще солдатчиной стращали!.. Нашли чем испугать!.. Но вы все же таки пеняли тогда на начальство, дрожали от страха за свою судьбу: вам, конечно, не хотелось такую же службу вынести вторично.

Мы видели, что действительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внешней Камчатке были и способные ученики, сердце которых тоже дрогнуло от слов Краснова, не столько от того, что их головы хотели накрыть красной шапкой – эти лентяи были народ беззаботный, мало думающий о будущем, – сколько от той беды, которую испытал сегодня их товарищ, Иванов. Изленившись, они не могли взяться за книжку, а с другой стороны, особенно умные из лентяев инстинктивно и, право, справедливо чувствовали отвращение к бурсацкой науке. Однако тем не менее нервная дрожь пробегала по их телу, когда они вспоминали Павла Федорыча. Они чувствовали, что вслед за Ивановым стоит их очередь, что зоркий глаз Краснова отыщет их в Камчатке и заставит их прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня в Камчатке; но, читатель, подождите немного, и вы увидите, *что* сегодня же радостно взволновало не только Камчатку божественную, не только Камчатку внешнюю, но и весь класс бурсаков.

Дайте только рассказать мне, какую штуку отмочил сегодня Аксютка в сообществе с Ipse, – иначе рассказ наш не будет вам понятен.

Аксютка все еще щелкает зубами.

Стемнело. Лампы, как мы уже имели случай заметить, не зажигались в классах до занятных часов. Аксютка пробрался в первоуздный класс, где в потемках обыскивал карманы и парты учеников.

– Где бы *стилибонить*? – шептал он.

Отправился он в приходские классы. Успех был тот же, и Аксютка со злости загнул какому-то несчастному трехэтажные салазки.

– Все стрескали, подлецы! – проговорил он.

С голодом Аксютки естественно росло непобедимое его желание похитить что-нибудь и съесть, а вместе с тем увеличивались его хитрость, изворотливость и предприимчивость. Он отыскал своего друга и верного пажа Ipse и отправился вместе с ним в тот угол двора, у ворот, где была пекарня. Они

пришли к пекарне: Ipse спрятался в темном углу ее, а Аксютка что есть силы стал ломиться в двери.

– Голубчик, Цепка, дай хлеба.

Цепка был солдат добрый. Он голодных бурсаков часто наделял хлебом, а кого любил – так и ржаными лепешками. Но этот хлебопек не мог терпеть Аксютку: он был уверен, что Аксютка стянул у него новые голенища.

Отметим здесь еще странное явление бурсы. Служители училища были чем-то вроде властей для учеников: у инспектора они имели значение гораздо большее, нежели всякий второклассный старшой. Свидетельство *сторожа* (так ученики звали прислугу) или жалобы его всегда уважались начальством. Ученик против сторожа ничего предпринять не мог. Это объясняется тем, что вахтер, гардеробщик, повар, хлебник, привратник и секундатор из сторожей, очевидно, служили в видах начальства. Все они из урезанных продуктов, разумеется ученических, должны были во что бы то ни стало приготовить для начальства хлеб, мясо, крупу, холст, сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждого из них была как бы жалобой на самое начальство; например, сказать, что повар мало каши дает, значило сказать, что эконом крадет казенную крупу, что эконом делится с смотрителем, училищный смотритель с семинарским, этот с академическим и так далее: выйдет, что жалоба о каше есть жалоба против высшего начальства, чуть не заговор и бунт. Да, на бурсацком языке такие жалобы, действительно, и назывались бунтами и преследовались, как бунты.

Служители сознавали свое положение и пользовались им.

Они жили гораздо лучше тех, кому служили: одежду носили казенную, ели вволю и хорошо, могли высказывать свои неудовольствия и грозить оставлением службы, у них всегда бывали жирные щи со свежей говядиной, жирно промасленная каша, а хлеба не порциями, как бурсакам, но сколько угодно. Живя почти на всем готовом, они, кроме того, получали жалованья от восьми до двенадцати, а вахтер и семнадцать рублей ассигнациями, – они были богаче самых богатых бурсаков. Многие из них имели случай красть казенное. Повар получал от некоторых учеников еженедельную плату за то, что кормил их утром и вечером кашею. Захаренко, секундатор, открыто брал взятки: каждый праздник он обходил классы и объявлял: «Что же, господа, Алексею Григорьичу (так величали Захаренко) на табачок?». К нему сыпались на подставленную ладонь гроши и пятаки. За неделю, когда сбор был скуден, ученики замечали, что он сек их с большею исправностию и аппетитом. Кроме того, Захаренко продавал ученикам нюхательный табак, сам-тре. Словом, служители составляли низшее начальство. Если к этому прибавить, что некоторые из них наушничали инспектору, то понятно будет их влияние на учеников. Поэтому ничего нет удивительного, когда Захаренко под пьяную руку проводил пальцем по голове ученика, как по бубну, приговаривая: «Эй, прокислая кутья, ваше дело гадить, наше убирать». Или что удивительного, если Еловый бил бурсака метлой по затылку, Трехполенный давал трепку и тому подобное? В большинстве случаев такие обиды терпеливо сносились учениками.

Но Аксютка, как отпетая личность, не обращал внимания на служительские власти. Он продолжал ломиться к Цепке в хлебную.

– Кто тут? – послышался голос Цепки.

– Это я, Цепка.

– Я тебе дам такого хлеба, что не съешь... прочь пошел!..

– Цепка, ей-богу, есть хочется!..

– Ну, пошел, пошел!.. не проедайся!..

Аксютка переменял тон. Он стал ругаться:

– Цепка, черт, дай же хлеба! Жалко, что ли, тебе куска какого-нибудь? Собака ты этакая, чтоб подавиться тебе сапогом, который ты шьешь!

– Ах ты, бесов сын! – проворчал Цепка.

Цепка воткнул шило в деревянный обрубок, служивший ему столом, и, стиснув зубы, схватил метлу и стремительно бросился к двери. Он приударил за Аксюткой. Аксютка бегал очень хорошо; он мастер был играть в пятнашки и на небольшом пространстве умел увертываться, делая неожиданные повороты то в ту, то в другую сторону. Двор был велик, но Аксютка побежал к воротам. Цепка крикнул привратнику, стоявшему там:

– Держи его!

Привратник схватил тоже метлу и бросился на Аксютку. Аксютка переменял рейс. К его несчастью, был шестой час вечера, час, в который служители мели спальные комнаты. Они теперь выходили с разных концов двора.

– Держи его!

Аксютку все знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксютке приходилось плохо. Его травили с четырех концов – он и озирался хищным волком. «Намнут, черти, шею!» – думал он. Но вот ноздри его поднялись и опустились. Он быстро бросился к Цепке. Цепка, не подозревая ничего в этом новом маневре, бежал к нему с распростертыми руками. Другие служители, видя, что Аксютка почти в руках Цепки, опустив швабры, кричали:

– Хватай его!

Но Аксютка, налетев на Цепку, неожиданно упал ему под ноги. Разлетевшийся Цепка полетел кубарем вверх ногами. Аксютка направил свой бег к классу, который уже был освещен, потому что начались занятия. Цепка, человек бедовый, в сердцах, стал клясться и божиться, что убьет Аксютку. Он поднялся с земли, схватил метлу и отправился к классу, куда скрылся Аксютка.

– Теперь поймают... попался! – говорили служители и разошлись в разные стороны.

Цепка ворвался в класс со страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидев его, вскочил на первую парту, с первой на вторую и полетел над головами товарищей. Цепка последовал его примеру, и огромный солдат носился с метлою в храме бурсацкой науки... Картина была великолепная... Ученикам стало весело, – такие спектакли приходилось видеть нечасто. Из-под ног разъяренных врагов летели на пол дождем книги, грифельные доски, черновильницы и линейки.

– Го-го-го! – начали бурсаки.

– Ату его! – подхватили другие.

Третьи свистнули.

Кто-то книгой пустил в Цепку. Цепка не обращал внимания на крик, атуканье и рев бурсаков. Он распалился страшно. Двадцать две парты, как клавиши, играли под здоровенными его ступнями. Но вот Аксютка, соскочив на пол, скрылся под партой; Цепка хотел последовать его примеру, но какой-то бурсак дернул его за ногу, и он растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здесь той свирепой брани, которою он осыпал весь класс.

Аксютка, выглядывая из-под парты, говорил ему:

– Цепка, встань, да на другой бок.

Цепка бросился к нему; но Аксютка уже из-под другой парты:

– Право, Цепка, дай, – голенища подарю.

Цепка понял, что под партами ему не угоняться за врагом. Он, обозвав бурсаков прокислой кутьей и жеребьячьей породой, направился к двери. Его проводили криком, свистом, атуканьем и крепкими остротами.

Покажется странным, каким образом подобный гвалт и рев мог не доходить до начальства. К тому способствовало самое устройство училища. Все здание разделялось на два корпуса – старый и новый. В *старом* года за три до описываемого нами периода помещалась семинария, а в *новом* училище. Семинария потом была переведена в новое здание, училище же осталось в прежнем. В училище из начальства жили только смотритель и инспектор, другие учителя помещались в старом корпусе². Таким образом, училище, по необходимости, управлялось властями, выбранными из учеников же. Кроме того, квартира смотрителя и инспектора была на противоположном конце двора, далеко от классов, так что никакой гвалт и рев не доходили до начальства. Служители составляли, как мы уже имели случай сказать, нечто вроде начальства и, значит, были ненавидимы товариществом, вследствие чего скандалы вроде описанного не доходили до инспектора и смотрителя.

Мало-помалу все успокоилось в классе. Аксютка пробрался в Камчатку. Скоро явился и Сатана (он же и Ipse)...

– Ну, что, Сатана?

– Оплетохом!

– Лихо!.. Ну-ка, давай сюда!

Ipse вынул целый хлеб...

– Да ты молодец!.. я тебя за это жалую смазью...

Сатана принял смазь и проговорил:

– Аз есмь Ipse!

Аксютка уписывал хлеб с волчьим аппетитом. Но после завтрака он все-таки не успокоился духом. «Черт их побери. – думал Аксютка. – этак когда-нибудь и с голоду умрешь. Уж не закатить ли завтра нуль в нотате? Э, нет, подожду – еще потешусь над Лобовым. А дело все-таки гадко. Но ладно, „Бог напитал, никто не видал; а кто и видел, так не обидел“, – заключил Аксютка бурсацким присловьем. – „Утро вечера мудренее...“

– Эх, Аксен Иваныч, – сказал ему Ipse, как бы отвечая его мыслям, – воззри на птицы небесные: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный питает их.

– Аминь! – сказал Аксютка и решил продолжить свои проделки с Лобовым.

Еще не утих гомерический хохот бурсы, как вошел в класс лакей инспектора и спросил:

– Где дежурный старшой?

² Между прочим, описывая бурсу, мы опустили очень важное обстоятельство, что повело ко многим недоразумениям. Мы забыли сказать, что описываемая нами бурса – было закрытое учебное заведение. Ученики ее не жили, как в других бурсах, на вольных квартирах. Все, человек до пятисот, помещались в огромных каменных зданиях, постройки времен Петра I. Эту черту не следует опускать из внимания, потому что в других бурсах вольные квартиры порождают типы и быт бурсацкой жизни такие, которых нет в закрытом заведении. Быть может, здесь же должно искать причину и того, что формы бурсацизма в нашем училище сложились так оригинально и так неискоренимо. Традиция, при закрытости заведения, имела полную силу и жизненность.

– Здесь. – отвечал старшой.

– Тебя инспектор зовет.

Лакей ушел.

Сразу по всем головам прошла одна и та же мысль: верно, Цепка пожаловался инспектору на Аксютку, у которого уже дрожали от предчувствия беды поджилки, но и, кроме его, многие струхнули, потому что многие принимали участие в скандале.

Старшой застегнулся на все пуговицы и отправился к инспектору не без внутреннего трепета, потому что в его дежурство случилась эта милая шутка веселых бурсачков. На класс напало уныние. Минуты еле тянулись в ожидании дежурного. Наконец он явился. Его встретило мертвое молчание.

Дежурный окинул взором класс. Все ждали.

– Женихи! – крикнул он.

У всех отлегло от сердца.

– Женихи? – отвечали ему.

Класс наполнился радостным ропотом. Туман с физиономий исчез, по ним пробежала светлая полоса. Все приподняли головы. У всех была одна мысль: «среди нас есть женихи, значит, мы не мальчишки, а народ самостоятельный».

Но что сделалось с Камчаткой? Там воодушевленный говор, потому что настал час торжества, час величия Камчатки.

Взоры всех были обращены в эту счастливую страну.

*Полно азбуке учиться,
Букварем башку ломать!
Не пора ли нам жениться,
В печку книги побросать?*

Шум усиливался.

– Тише! – крикнул цензор.

В классе несколько стихло.

– Кто женихи?

Вышли Васенда, Азинус, Евра-Кокста, Рябчик.

– И я жених. – С этими словами присоединился к ним Аксютка.

Класс захохотал.

Ирсе от восторга вертел хвостом халата.

– Никого больше?

Больше никого не оказалось.

– Женихи к инспектору!.. живо!

Все пятеро отправились к инспектору. Класс, глядя на Аксютку, который с уморительными гримасами подпрыгивал и бил себя по бедрам, весело смеялся.

Когда женихи скрылись за дверями, класс наполнился сильным говором, точно на рыночной площади торг во всем разгаре. Но это не был тот бесшабашный гвалт, когда бурсаки тянули *холодно* или дули *разноголосицу*: он скорее походил на тот шум, который наполнял класс во время получения билетов на каникулы. В Камчатке же шло положительное ликование – она высылала от себя женихов, героев дня. Событие во всех головах поднимало мечты: «когда-нибудь и мы освободимся от бурсы». От двенадцатилетнего мальчика до двадцатидвухгодовалого парня, от последнего лентяя до первого ученика – все думали одну радостную думу. Все училище было охвачено трепетом. Бог весть каким образом магическое слово «женихи» быстрее ласточки облетело по всем классам, сладостно волнуя бурсацкие души. Урок нейдет на ум, книги в партах, ученики сбились в кучки, и цензор снисходителен на этот раз – не разгоняет их. Все сразу почему-то вспомнили свою родину, дом, отца с матерью, братьев с сестрами. Самые молодые бурсачки, и те рассуждают о невестах, о женитьбе, о поповских и дьяческих местах и доходах, о славленьи и т. п. Многие толкуют о дне исключения их: кто собирается в дьячки, кто в послушники, кто в чиновники, а кто так и в военную службу.

Женихи вернулись от инспектора.

– Ну что? – спрашивали их с любопытством.

– Везет ли, Аксен Иваныч? – говорил Ирсе.

– Вот тебе – читай.

Ирсе взял из рук Аксютки осьмушку исписанной бумаги и начал по ней читать громко:

БИЛЕТ

Ученик Аксен Иванов уволен в город для свидания со своею невестою Ириною Вознесенскою, 18... года 23 октября, с 4 часов пополудни до 9 часов вечера.

Далее следовала подпись инспектора.

– Bravo, Аксютка! – кричали товарищи.

У Васенды и Азинуса были такие же билеты.

Но остальные два претендента пробирались на священные парты Камчатки с унылым и понуренным видом.

– Вы что?

– Их сначала будут румянить и уж потом на смотрины.

Раздался смех.

Униженные и оскорбленные, усевшись на место, положили с отчаянием свои победные головы на руки.

– Этому, – пояснял Аксютка, указывая на великовозрастного бурсака, – инспектор сказал: «Я тебя замечал в нетрезвом виде – какой же из тебя выйдет муж?.. Нет, вместо свадьбы устрою тебе баню».

– Поздравьте, господа, – дополнил Аксютка, – молодых с законным браком.

Хохот.

– А этому, – говорил Аксютка, указывая на другого отверженного жениха, – оказалось всего четырнадцать лет.

– Вот так жених!

– Смазь ему, ребята!

– Салазки жениху!

Несчастливого окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и беспощадными салазками. В другое время он протестовал бы, но теперь стыдно было, что он, четырнадцатилетний мальчик, задумал *брачиться* с тридцатидвухлетней древностью. Кроме того, его мучил страх грядущих румян. С горя, стыда и страха он заплакал.

К нему подошел Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос жениха и потянул через парту.

– У-у-у – затянул он.

Класс захохотал.

– Молокосос!

Тавля после того еще надрал ему уши.

Бедняга рыдал, но от стыда не решился просить пощады. С той поры его прозвали «мозглым женихом». Он в тот же вечер ударился в беги. Когда будем говорить о бегунах бурсы, расскажем и о его похождениях.

Около женихов были шум и толкотня. Расспрашивали о приходе, о невесте, о доходах, давали советы и снаряжали на завтрашний день к невесте. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряженное состояние духа учеников, в котором они находились. Это выразилось тем, что товарищи охотно предлагали женихам кто новенький сюртучок, кто брюки, кто жилет, даже сапоги и белье. Азинус на другой день сбросил с себя тиковый халат и дырявые сапоги, у которых вместо подметок были привязаны дощечки деревянные, и явился франтом хоть куда. Все это напоминает нам тех беглых арестантов, которых г. Достоевский изобразил в «Мертвом доме». Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от бурсы.

Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь невеста, недурной мальчик лет четырнадцати, сидела одетая во что-то вроде импровизированного капота; голова была повязана платком по-бабьи, щеки ее были нарумянены линючей красной бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправились к невесте, а от ней к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Явились попы, дьяконы и дьяки, зажгли свечи, началось венчанье с пением «Исаие, ликуй!». Гороблагодатский *отломал апостол*, закричав во всю глотку на конце: «А жена да боится своего мужа». Тавля поцеловал у печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился опять в Камчатку, где и начался великий пир и столованье. Здесь гостям подавались леденцы, пряники, толочко, моченый горох, и даже часть украденного Аксюткой хлеба шла в угощение поезжан и молодых. Поднялись пляски и пенье. В конце занятных часов появилась и святая мать, сивуха. На другой день через фискалов все известно было инспектору, и последовало румянение тех мест, откуда у бурсаков растут ноги.

На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были действительные смотрины.

Васенда, как человек положительный и практический, нашел невыгодным закрепленное место, приданое и обязательства, а невесту чересчур заматоревшею во днех своих, на вид рябою, длинною и черствою. Он решил остаться в Камчатке до лучшей суженой.

Азинус, по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоела и опротивела бурса, махнув на все рукою, решился вступить в законный брак с дамою, которая была старше его по крайней мере десятью годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба.

Аксютка вовсе и не думал жениться. Он отправился на смотрины единственно из желанья потешиться, поест у невесты, стянуть что-нибудь и погулять вне училища, на свободе. Он украл у «нареченной» шелковый платок и три медных гривны.

Один из женихов, как мы уже видели, удрал из училища и теперь состоял в бегах.

Пятый жених на другой день получил от инспектора румяны, то есть блистательную порку.

Бегуны и спасенные бурсы. Очерк четвертый

Главное действующее лицо настоящего очерка Карась. Что это за рыба?

Карась был довольно самолюбивая рыба. Два его брата, уже бурсаки, смотрели на него как на маленького, не допускали его не только в серьезные, по их понятию, предприятия, но даже и в простые игры, и именно на том основании, что он не ел еще семинарской каши, а между тем он слышал иногда от них рассказы о разного рода играх бурсаков, о бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством – рассказы, которые казались ему очень привлекательны: все это породило в нем страстное желание как можно скорее, всецело, по самые уши окунуться в болото бурсацкой жизни.

Настал давно ожидаемый им день. Сняли с Карася детскую рубашонку и вместо ее надели сюртучок – с той минуты он почувствовал себя годом старше; он имел уже свою кровать, свой сундук, свои книжки – это еще прибавило ему росту; дали ему на булки двадцать копеек, капитал, редко бывавший в его руках, – тогда карасиная гордость сделалась непомерна. Пришел час расставания с родным домом: помолились Богу, благословили Карася, у матери слезы на глазах, отец серьезен, сестренки задумались, – лишь Карась радуется и скачет, как сумасшедший, он блаженствует от той мысли, что еще несколько минут – и он будет бурсак, бурсак с головы до ног, вдоль и поперек.

Карася отвели в бурсу. Здесь он простился с отцом очень невнимательно. Ему хотелось поскорее присоединиться к ученикам, которые играли на большом дворе бурсы в *лапту, касло, отскок, свайку, рай и ад, казаки-разбойники, краденую палочку* и т. п. Долго не думая, он по уходе отца отправился на двор, где и присоединился к кучке бурсачков, игравших в рай и ад, то есть скакавших на одной ноге среди начерченной на земле фигуры, причем носком сапога они выбивали из разных ее отделений камешек...

«Это очень весело», – подумал Карась.

Но в то же время он услышал насмешливый голос:

– Новичок!

– Городской! – прибавил кто-то.

– Маменькин сынок!

«О ком это?» – думал Карась.

Его щипнули.

«Обо мне», – решил он. Сердце его замерло от предчувствия чего-то нехорошего...

– Смазь новичку!

«О ком это?» – думал Карась.

На него налетел довольно взрослый бурсак и схватил его лицо в свою грязную пясть. Карась вовсе не ожидал такого приветствия. Он озлился, но не ему, поступившему в училище на десятом году, было бороться с здоровыми бурсаками. Однако Карась не обратил внимания на свое слабосилие. Он размахнулся ногою и ударил ею своего обидчика в живот. Бурсак застонал и хотел дать трепку Карасю, но Карась ударился в беги.

– Ай да новичок! – слышал он сзади себя одобрение.

«Вона – еще хвалят!» – думал утекающий Карась.

В пять часов вечера братья отвели Карася во второй приходский класс, где он и водворился на задней парте и скоро познакомился со своим соседом, которого звали *Жирбасом*.

– Ты будешь учить урок? – спросил Жирбас.

– Буду.

– Зачем?

– А учитель спросит?

– Быть может, и не спросит.

– Так разве не учить?

– Не стоит.

– И не буду же учить.

Так Карась начал свое духовное образование. Однако же чем развлечься? – впереди предстояли еще три учебных часа.

– Что ж мы будем делать? – спросил Карась.

– Давай играть в *трубочисты*.

– Ладно.

Но лишь только Жирбас стал загадывать, пряча грифель, подходит к Карасю какая-то каналья и, показывая ему небольшую склянку, говорит:

– Хочешь, *посажу тебя в эту бутылочку?*

– В эту?.. Каким образом?..

– Да уж будешь сидеть... хочешь?

– Шутишь, брат!.. Ну-ка, сади!

– Вот тебе шапка – трись ею...

– И буду сидеть в бутылочке?

– Будешь.

Карась берет поданную ему шапку и начинает очень усердно тереться тою шапкой.

– Входишь в бутылочку, лезешь, – говорили окружающие Карася товарищи, а сами хохотали.

– Чего вам смешно? – спрашивал глупый Карась.

– Довольно! – говорят ему. – Сел в бутылочку.

– Как так? – спрашивает Карась, отнимая от лица шапку.

Раздался дружный веселый смех...

– Где же я в бутылочке?

– Данте ему зеркальце.

Подали зеркало. Заглянув в него, Карась не узнал своей рожицы: вся она была черна, как у трубочиста. Только тут Карась смекнул, что шапка, которой он терся, была вымазана сажею и ее трудно было заметить на черном сукне. Карасю было досадно и стыдно.

Сам выпачкался, – говорили ему.

– Не на кого и жаловаться...

– Фискалить? да мы его *вздурим!*

– Не буду я фискалить, – ответил Карась, – а вы все-таки подлецы!

Карасю пришлось выносить насмешки своих товарищей. Вымыв рожицу из ведра, стоявшего в углу класса, Карась бросился к Жирбасу, надеясь на его сочувствие...

– Черти этакие! – сказал он...

Но Жирбас, услышав такие слова, отвечал на них оскорбительным для карасинового уха смехом.

– Жирная скотина! – проворчал Карась...

Это было началом его раздора с Жирбасом. Этот раздор с каждой минутой развивался сильнее и сильнее при тех случаях, когда Карасю приходилось, как новичку, терпеть разного рода шутки и проделки со стороны своих товарищей.

К Карасю подошел цензор и спросил его:

– Видал ли ты Москву?

– Никогда не видал.

– Так я тебе покажу ее.

С этими словами цензор схватил карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе...

– Ай, пусти! – запищал Карась.

Цензор, потешившись над рыбою, опустил ее на парту. Жирбас опять смеялся. Его рожа для Карася становилась противна.

– Жирная харя! – сказал он вслух.

Это несколько не обидело Жирбаса. Он только пуще захохотал. Карась нашел, что благоразумнее будет, если он и на этот раз смирится, – иначе его досада только усилит насмешки соседей.

Но вот спустя немного времени подходит к Карасю какой-то верзила. Строгим, начальническим тоном он отдает ему приказ:

– Ступай на первую парту. Видишь, там сидит большой ученик. Ты спроси у него *волосянки*.

Карась повинуется.

– Дай *волосянки*, – говорит он, подходя к указанному ученику.

– Изволь, сколько хочешь, – отвечает тот и, вцепившись в волосы несчастного Карася, начинает трепать его очень чувствительно... Карась пищит, на глазах его слезы.

Вернувшись на свое место, он слышит новый смех Жирбаса. Рожа этого соседа делается для него ненавистна.

– Вот тебе! – говорит озлившаяся рыба и дает толчок по боку соседа.

Но и это не действует на Жирбаса.

– Чкни еще, – говорит он, подставляя другой бок, а сам заливается обидным смехом.

– Свинья, – приветствует его Карась и отворачивается в сторону с твердым намерением не говорить ни слова с соседом.

Карась сидит, насупившись. Смазь, бутылочка, Москва, волосянка показали ему очень солонны... Он опасается, чтобы еще не провели его на чем-нибудь. К нему подходит один второкурсник. Карась смотрит на него подозрительно...

– Что, бедняга, тебя обижают? – говорит второкурсник ласково...

Карась отвечает на этот вопрос сердитым взглядом.

– Они новичков всегда обижают, – продолжал второкурсник. – Ты мне скажи, если кто тебя тронет.

Карась пойман был на ласковое слово...

– Чего они лезут ко мне, – проговорил он жалобно, – ведь я их не трогаю?..

– Теперь ничего не бойся: я заступлюсь...

– Заступись, брат...

Второкурсник сел подле него и стал расспрашивать, откуда он, где его отец, есть ли у него мать, братья и сестры. Карась доверчиво раскрыл перед новым знакомцем свою душу: его приветливость была очень кстати и вовремя для огорченного Карася...

– Хочешь булки? – сказал он, развязывая узелок...

Второкурсник не отказался и стал еще ласковее.

– Давай, я тебе штуку покажу, – говорит он... – Напиши: «Я иду с мечем судия».

Карась написал.

– Читай теперь сзади наперед, от правой руки к левой.

И от правой руки к левой выходит: «Я иду с мечем судия».

Это очень понравилось Карасю.

– Подожди, я тебе еще покажу штуку, – говорит второкурсник.

Он отлучился куда-то ненадолго и, вернувшись, опять садится подле Карася...

– Напиши, – говорит: – «Лей воду, лей; ей-Богу, не скажу я никому».

Карась, в надежде, что еще увидит что-нибудь вроде «судии с мечем», взял карандаш и написал, что требовалось.

Но едва успел он кончить последнее слово, как второкурсник окатил его водою из ковша, который он держал за спиною. Мокрый Карась понять не мог, что это значит.

– Это еще что? – спросил он.

– Сам, – отвечал второкурсник, – дал расписку, что никому не скажешь...

– Ах ты, подлец, подлец...

Но подлец лишь только смеялся. Отвратительный Жирбас вторил ему. Карась был унижен и оскорблен. Он не вынес смеха Жирбаса и, увлекшись злобой, довольно сильно ударил его по шее... Но, казалось, Жирбас был неуязвим. Он после удара, схватившись за живот, раскатился пущим смехом... Карась стиснул зубы и, закрыв лицо руками, собирался плакать.

В то время проходил мимо его Силыч, парень лет осмнадцати, товарищ ему, десятилетнему мальчугану. Силыч остановился около Карася, положил на его плечо руку, а другою ни с того ни с сего сильно ударил в его спину. Дух замер в Карасе, потому что удар пришелся против сердца. Он со стоном еле поднял свою голову.

– За что? – проговорил он...

– Так себе, – ответил Силыч...

И действительно, Силыч, человек, как увидим далее, добрый, сам не знал, зачем сделал подобную гадость. Он ударил не по злости, не для потехи, не потому, что рука затеклась кровью и просила моциону, а именно так себе, бессознательно, как-то само ударилось, нечаянно... Он спокойно пошел далее, а Карась наконец не вынес и зарыдал...

Жирбаса при этом прорвало неудержимым смехом...

– Что, голубчик, верно, не едал еще таких штук...

В Карасе вспыхнула вся злость, накопившаяся в продолжение занятных часов...

– Подожди же, жирная тварь, – проговорил он, и с этими словами он, схватив в одну руку линейку, а в другую довольно толстую книгу, принялся отрабатывать Жирбаса – линейкой по бокам, а книгою по голове. Жирбас был старше Карася и сильнее, но оказался трусом. Он и не думал, в свою очередь, сделать нападение.

– Ай да новичок! – одобряли Карася.

– Молодчина!

– Ты корешком-то его!

Карась послушался доброго совета, повернул книгу корнем вниз и вклеил ее в темя ненавистного Жирбаса.

– Bravo!

– Хлестко!

– Свистни еще его!

Карась послушался и этого совета...

Наконец Жирбас вырвался из его рук и, закричав: «я смотрителю пожалуюсь», скрылся за дверями.

Расположение товарищей к Карасю переменилось по уходе Жирбаса.

– Попался, голубчик! – говорили ему.

– Так что же?

– А то, что накормят березовой кашей!

Карась струсил, но, не желая обнаружить этого, проговорил храбро:

– Пусть кормят! – а сам думал: «неужели меня в первый же день отпорют? только это не хватало!».

Через несколько минут Карася позвали к смотрителю, и, действительно, в первый же день крещения в бурсацкую веру он получил помазание в количестве пяти ударов розгами, причем ему было внушено: «только на первый раз к тебе снисходительны; вперед будем драть больнее!». Соображая, в каком размере должна усилиться порка в будущее время, он в горьком раздумье возвращался в класс...

– Ну что? – спрашивали его товарищи...

Карась, опять не желая показаться трусом, отвечал:

– Отодрали – вот и все.

– И тебе нипочем?

– Дери сколько хочешь – мне все одно!

– Э, да ты молодец! – похвалили его товарищи.

Карасиное самолюбие ощутило приятное щекотание, и он продолжал врать:

– Меня хоть пополам раздери, не струшу!

– Полно, так ли?

– Ей-богу, мне нипочем.

– Ах ты, поросенок, – осадил его один из второкурсников, – а дирали ль тебя на воздушях?

– На воздушях? – спросил с недоумением Карась...

– Да, ты вот откушай этой похлебки, тогда и говори, что дерут – ведь не репу сеют.

Карась, сделавшись на несколько минут предметом общего внимания, думал: «значит, и мы не из последних?», но эту думу рефлексировала другая: «что это такое на воздушях? что-нибудь слишком жестокое, если меня пугают такой деркой?». Но сила последнего вопроса скоро была ослаблена тем, что он за несколько минут до ужина подслушал мнение нескольких второкурсников о своей личности. Они говорили: «Из новичка, кажется, выйдет добрый парень. Фискалить он не любит, порки мало боится, Жирбасу отлично съездил по голове. Из него выйдет порядочный бурсак, только следует пошлифовать его хорошенько. Мы и пошлифуем его!». Такие речи настроили Карася на доброе расположение духа. Он соображал так: «Все эти смази, волосянки, треухи и бутылочки есть не что иное, как шлифование. Это меня испытывают они. Значит, надо держать ухо востро!». Он решился

показать себя молодцом и уже разыгрался духом, намереваясь заявить среди новых товарищей свой характер, вполне достойный бурсака. «Что такое на воздухах? и какое еще предстоит мне шлифованье?» – когда эти мысли приходили ему в голову, он старался прогонять их тем, что «из него, вероятно, выйдет добрый парень». «Посмотрим, что будет!» – говорил он себе.

Сходил он в училищную столовую, «шей негодных похлебал», поел каши и после молитвы пришел в спальную...

– Ты что? – спросил его брат, по прозванию Носатый.

– Меня отодрали, – отвечал хвастливо Карась.

– Уже?

– Эге!

Брат, выслушав подробности дела, одобрил поведение Карася... Но Карась, сообщая брату о том, за что его высекли, не сказал ему о своих слезах, которые были вызваны у него сажанием в бутылочку, смазками, окачиванием воды и затрепинами; в нем начинал развиваться ложный бурсацкий стыд, который запрещает краснеть от лозы.

Карась, главное действующее лицо этого очерка, будет описан нами с особенными подробностями, потому что он во многих характерных событиях училища и семинарии принимал деятельное участие и притом прожил в бурсе четырнадцать лет – период, который мы хотим проследить в своих статейках о елейном воспитании. При этом заметим, что мы лично и очень коротко знакомы с господином, носящим прозвище Карася, и эту правдивую историю пишем с его слов.

Мы сказали, что Карась уже разыгрался духом от той мысли, что он покажет своим новым товарищам свой характер, вполне достойный бурсака, и что потом все пойдет ладно. «Обживемся», – думал он. Но он и не предполагал, что главное горе было впереди. Он не носил имени Карася при поступлении в училище. Это прозвище он получил несколько дней спустя, и оно-то было причиною тех его несчастий, о которых поведем рассказ.

Дело было так.

Не прошло и четырех дней, а Карась начал уже задумываться о доме, скучать и потихоньку от товарищей плакать. Желание его обурсачиться пропало. Все в училище ему казалось гадко и противно. С каждой минутой открывались пред ним гадости, описанные в наших очерках, и он скоро постиг весь контраст между домашним и училищным бытом. Семейная жизнь теперь казалась ему полным блажеством, выше которого нет на свете, бурсацкая – царством бесконечных мучений. Он усиленно всматривался в черную бездну, которая легла между той и другой жизнью... Домой хотелось, домой! Теперь самыми счастливыми для него минутами были те, когда он виделся с своими братьями; но он ошибся и в братьях, когда думал, что, поступив в бурсу, он сделается равен им; Карась принадлежал к приходчине, на которую старшие классы смотрели свысока и с пренебрежением. С товарищами он не успел сойтись. Тоска грызла карасиное сердце, и ему приходило не раз в голову: «не дать ли тягу из училища? – но куда бежать?». В это время Карась и придумал дело, которое показалось ему очень хорошим.

Карась еще дома знал, что в училище так называемым певчим не житье, а масленица. В епархиальном главном городе той бурсы, в которую поступил он, было несколько духовных певческих хоров: ученический, семинарский, академический, архиерейский и, кроме того, два хора при городских церквах. Дисканты и альты (иногда басы и тенора) в эти хоры набирались из учеников. Родители всегда восставали против того, что их детей верстали в певчие. Хоры положительно портили

детей³. Мальчики теряли учебное время на спевках, заказных обедах, свадьбах и т. п. В прошлом очерке мы приводили факты бурсацкого невежества, но самое глухоголовое невежество царило в певческих хорах. Дельные бурсаки рассказывают, что за *четырнадиать* лет они помнят только *одного* умного человека, бывшего в маленьких певчих, да и тому не удалась жизнь: поступив по окончании семинарского курса псаломщиком в один из университетских заграничных городов, с намерением получить полное образование, он кончил тем, что застрелился. Хоры, делая мальчиков дураками, в то же время развращают их. Присутствуя очень часто на поминках, на которых, как известно, наш православный люд не ест, а лопает, не пьет, а трескает, дети не только видят пьяных, но привыкают и сами пить водку. Равным образом, они нередко бывают при кутежах больших певчих, слышат цинические рассказы о полуведерных, любовных похождениях, картежной игре, о драках и разного рода скандалах. Кроме того, маленькие певчие получают деньжонки, особенно так называемые *исполатчики*, – деньжонки идут у них не путем. Чтобы сразу охарактеризовать растлевающую силу хорового быта, представляем читателю следующий факт. В одно время какая-то старая дева, на закате дней своих начавшая похотствовать, приучила к себе маленьких певчих возрастом *от пятнадцати до осьми* лет, шесть человек, и со всеми ими вступила в гражданский брак. Иногда же маленькие певчие употреблялись для того дела, для которого Нерон употреблял Спора. Понятно, что очень легко погибнуть мальчику в певческом хоре.

Карась не знал ничего этого. Он решился поступить в хор. Впрочем, он поступал в учебный хор, в котором хотя тоже баловались дети, но все же не развращались. Поступив в семинарский хор, Карась мог отлучаться из училища два раза в неделю на спевки, при чем хоть сколько-нибудь удавалось подышать чистым воздухом; кроме того, в семинарии певчих поили иногда чаем и давали деньги; наконец, певчие состояли под особым покровительством семинарского начальства. Смекнув все это, Карась в то же время, когда ему противна стала бурса, поступил в хор; но не смекнул Карась того, что он, несмотря на свой сильный альт, не имел никакого певческого таланта. Это ему дорого обошлось. Лучше бы и в самом деле быть ему безгласной рыбой, а не певчим. За постоянную фальшу в пении начали драть ему уши, потчевать пинками, шипками и ударами камертона в голову. Тогда Карась пустился на хитрости. Его сотрудники поют, а он только рот разевает. «Не заметят, – думает, – скажут, что и я пою». Но регента трудно было провести такими штуками.

– Ты, галчон, что только рот разеваешь? – сказал он Карасю.

– Я пою.

– Врешь, каналья.

– Ей-Богу же, пою!

Карась перекрестился.

Карась крестится, а его за ухо.

– Пой, шельмец, громче!.. шибче!..

Карась заревел во все горло. Пение вышло так хорошо, что все расхохотались, и сам регент не выдержал. Один же озорник, из маленьких певчих, по прозванию *Леха*, указывая на мученика пальцем и задыхаясь от смеху, проговорил:

– Ка... ка... ка... р-р-рась...

– И вправду карась... Широкой, как карась, – подхватили другие.

³ При нашей характеристике хоров должно помнить, что она вполне относится не ко всем им; из них отчасти должно исключить хоры при учебных заведениях, хотя и эти хоры не совсем безвредны, но о них речь будет когда-нибудь после.

– Его надо в пруд!

Пошла потеха.

Карась не был настолько благоразумен, чтобы обратить дело в шутку. На возвратном пути Леха дразнил его, и когда они пришли в училище, бурсачки, окружив его, стали кричать:

– Карась!

– Рыба!

– С ершом подрался!

Карась стал браниться; его начали дергать за полы и щипать; тогда Карась принялся за палки и каменья. Весело стало ученикам; толпа увеличилась. Наконец кто-то сшиб Карася с ног.

– Мала куча!

На Карася повалили других, на других третьих, и пошла история.

– Где ты, Карасище? – кричали сверху.

Карасю живот тискали, Карась задыхался, Карась землю ел, Карась плакал...

После долгих усилий он вырвался кое-как и ударился бежать в класс. Бурсаки бросились за ним в погоню. В классе окружили его снова.

– Давайте нарекать Карася...

Схватили его за руки и всевозможными голосами, с криком, визгом, лаем, стоном начали кричать в самые уши его:

– Карась, карась, карась!

Гвалт поднялся страшный, и среди него ученики не слышали, как раздался звонок, возвещающий классные занятия. Прошло довольно времени, и уже в соседний класс пришел учитель, знаменитый Лобов, а шум не унимался. Несчастливого Карася щипали, сыпали в голову щелчки, кидали в лицо жеваную бумагу. Карась точно в котле варился; он постепенно был оглушен и ошипан. Шутка зашла так далеко, что ему уже казалось, будто из мира действительности он перешел в мир полугорячего, безобразного сна. Рев был до того невыносим, что Карасю представлялось, что ревет кто-то внутри самой головы его и груди. Начиная шалеть, предметы в глазах путались, линии перекрещивались, цвета сливались в одну массу. Еще бы минута, и он упал бы в обморок. Но Карася так жестоко щипнули, что вся кровь бросилась в лицо его, в висках и на шее вздулись жилы, и он с остервенением и в беспмятстве бросился на первого попавшегося под руку: пальцы его, вцепившись в волосы жертвы, заостенели.

Дело кончилось крайне омерзительно...

В класс вошел Лобов, которого сбесил шум бурсаков. Все разбежались по местам; лишь один Карась таскал свою жертву, которая, к несчастью, пришлась ему под силу.

– Взять его! – приказал Лобов.

Никто ни с места.

– Взять его!

На Карася бросились ученики большого роста и в одно мгновение обнажили те части корпуса, которые в бурсе служат проводниками человеческой нравственности и высшей правды.

– На воздушных его!

Карась повис в воздухе.

– Хорошенько его.

Справа свистнули лозы, слева свистнули лозы; кровь брызнула на теле несчастного, и страшным воем огласил он бурсу. С правой стороны опоясалось тело двадцатью пятью ударами лоз, с левой столькими же; пятьдесят полос, кровавых и синих, составили отвратительный орнамент на теле ребенка, и одним только телом он жил в те минуты, испытывая весь ужас истязания, непосильного для десятилетнего организма. Нервы его были уже измучены тогда, когда его нарекали Карасем, щипали и зашупали, а во время наказания они совершенно потеряли способность к восприятию моральных впечатлений: память его была отшиблена, мысли... мыслей не было, потому что в такие минуты рассудок не действует, нравственная обида... и та созрела после, а тогда он не произнес ни одного слова в оправдание, ни одной мольбы о пощаде, раздавался только крик живого мяса, в которое впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, яростные лозы... Тело страдало, тело кричало, тело плакало... Вот почему Карась, когда после его спрашивали, что в его душе происходило во время наказания, отвечал: «Не помню». Нечего было и помнить, потому что душа Карася умерла на то время.

– Бросьте его!

С этими словами Лобова кончилось гнусное, любовское, лобное дело.

В жизни человека бывает период времени, от которого зависит вся моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот период наступает только в юности; это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве. Так было и с Карасем. Слышали мы от него мнение такого рода: «Все уверены, что детство есть самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, но это ложь: при ужасающей системе нашего воспитания, во главе которой стоят черные педагоги, лишенные деторождения: – это самый опасный период, в который легко развратиться и погибнуть навеки». Это Карась испытал на себе...

Карась после нареkania и порки не мог опомниться и на долгое время потерял способность соображать. На другой день его посетил отец. Лишь только он увидел отца, из глаз его полились слезы. Родное селение, кладбище, дом с садом, семья, домашние товарищи, игры – все это живой картиной встало перед его воображением. Он теперь хорошо понял, как мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и как гнусна бурсацкая, к которой он когда-то стремился.

– Домой хочу, – говорил он, глотая соленую слезу.

Отец его был человек в высшей степени добрый. Ему сделалось жалко сына...

– Тятенька, возьмите меня домой.

– Нельзя, – отвечал отец, – надобно учиться; все учатся, и ты не маленькой... Сначала только скучно, а потом привыкнешь... Ты веди себя хорошо, хорошо и жить будет.

Но отец вдруг прервал свою речь. Он подумал: «все мы говорим детям подобные вещи, но они никогда не утешают их». Отец вздохнул.

– Зачем вы меня отдали сюда?

Сын заплакал.

– Обижают, что ли, тебя?..

Сын ничего не отвечал...

Отец видел, что что-то неладно... Он опять сказал ласково:

– Что же, тебе худо здесь?..

Не только дети, но и взрослые, когда посещает их горе, делаются несправедливы к самым близким людям и друзьям, оплачивая на них свое горе. У Карася появилась досада на своего доброго отца.

«Зачем меня отдали в эту проклятую бурсу? – рассуждал он, не говоря ни слова. – Зачем меня заперли сюда?.. Отец меня не любит, мать тоже, братьям и сестрам я не нужен... Большие всегда обижают маленьких... Когда так, не хочу домой... пусть их... мне все одно... Что и дома, когда там все ненавидят меня?.. Им приятно, что я мучусь... нарочно отдали сюда, чтоб меня секли, били, ругали... Отпустят в субботу домой, не пойду домой».

Так рассуждал Карась, а самому страстно хотелось домой. Казалось, тут и раскрыть свою душу перед отцом, он Карась роптал и думал про себя; «К чему? не поможет!» Он решил ничего не говорить отцу, который так и не узнал, какую моральную и физическую пытку перенес его сын в первые дни училищной жизни.

Когда ушел отец, к тоске по родном доме присоединился страх. Карась и не подозревал, что он, сравнительно с большинством новичков, довольно счастливо начал бурсацкую карьеру. Товарищи знали, что он вошел в училище с веселым лицом, а не со слезами, на первую пожалованную ему смазь отвечал ногой в живот обидчика; когда его сажали в бутылочку, давали ему волосянку, показывали Москву, обливали водой, когда бил его Силыч, – он и не думал жаловаться начальству, значит, из него не выйдет фискала; он лихо отколотил Жирбаса, получил в первый же день порку; когда дразнили его на дворе, он хватался за палки и каменья, а не бежал к инспектору; даже во время самого наречения его впелся в волоса одного бурсака, – все это были факты такого рода, которые внушали уважение к Карасю. Для него скоро бы прошло время, в которое его считали бы новичком и в которое больше всего терпит бурсак; но он потерял способность резюмировать – Лобов отшиб эту способность на время. Не будь Лобова, дело еще пошло бы кое-как. Но в это-то время душевного оупения пред ним и развернулась широкая, бездонная, зияющая пропасть бурсацких ужасов, силу которых он испытал на своей коже, мясе и костях. Карась находился теперь под полным подавляющим влиянием этой силы: мертвая безнадежность, глухое отчаяние легли на его сердце, и если бы товарищи продолжали мучить его, а начальники драть беспощадно, не дав отдохнуть для борьбы, он превратился бы или в дурака, или в подлеца. Вспоминая это страшное время, Карась говорит: «Многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами; многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. Плачут отцы и матери, отпуская сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы».

Карась уединился ото всех и замкнулся. Он всех боялся.

Но должно же было разрешиться чем-нибудь это пассивное страдание? Оно могло пока разрешаться только внутренним путем. В душе его проявляется страшная злость и ненависть, однако боящаяся обнаружить себя. Она горячит воображение Карася, и в голове его возникают странные идеи и картины. Он переносится в область фантазии, единственный уголок, где может он приютиться безопасно.

«Хоть поджег бы кто ненавистную бурсу!» – думает он. Эта мысль очень нравится ему, и он быстро доходит почти до образных созерцаний.

Карась представляет себе, как он с зажженной паклей в руках опускается в подвалы училища, строит там огромные костры и, вышедши оттуда, ждет, скоро ли пламень своими огненными языками

начнет лизать проклятые бурсацкие гнезда. Злость его видит, как пожар охватил бурсу... трещат, нагибаются, падают стены... разрушаются гнусные классы... горят противные книги и учебники, журналы и нотаты... гибнут в огне начальники и учителя, цензора и аудиторы... С галлюцинационной ясностью стоит перед Карасем нарисованная им картина... Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль умирающего начальства... «Это кто стонет? – спрашивает Карась. – А! это Лобов корчится на горячих углях, его придавило бревном, глаз его лопнул, почернели губы, трескается зверское лицо...» Карась с сладострастным наслаждением любит своими образами и живет злорадной мечтательной мезью... Нервы его в полугорячем состоянии; пульс бьет девяносто в секунду; голова горит... Когда в действительности силы связаны, тогда у мальчика с сильным воображением является в неестественных образах гиперболическая мезь. Доводя злые мечты до последнего развития, Карась повторяет одно и то же несколько раз, определяя каждую подробность их, каждую мелочь. Но такое психическое состояние не может продолжаться долго: душа утомляется, и начинает незаметно пробиваться здравая мысль. Карась, погруженный в свирепые мечтания, почему-то вдруг вспоминает, как он однажды подшиб нечаянно камнем голубя и потом целую ночь не мог заснуть от мучений совести... Он ясно начинает понимать всю ложь и безобразие своих картин, гонит их прочь, на душе делается пусто и противно, остается одна тошнота от неумеренных и бесплодных мечтаний.

Яркий звонок возвестил час вечерних занятий.

Действительность, от которой он закрывал глаза и затыкал уши, врывается насильно в сознание, обнаруживая все ребячество его раздраженного воображения. Он сидел в классе, на задней парте, понуря тоскливо голову. Уличенный совестью, он теперь гнал от себя мечты, и таким образом ни во внешнем, ни во внутреннем мире не осталось места, куда бы можно было спрятаться, а между тем душа и тело просят деятельности. В этом мучительном состоянии Карась не знает, что и делать. Очень тяжело ему.

«Господи, – думает он в невыносимой тоске, – хоть захворать бы мне!» Это было толчком, от которого развились фантазии в новом направлении. Кроме внутреннего мира, нигде не было приюта. И вот Карась болен... Он при смерти... Родная семья плачет около его постели и прощается с ним до радостного утра... Карась готовится к переходу в вечность... последний час... Но далее мечта сбивается» с пути, потому что умирать не хочется. Карасю является Николай-чудотворец, исцеляет его и велит идти спасаться в пустыню... Рисуется ему пустынная, мирная, ангельская жизнь, трудные подвиги, церковные песни, беседы с Богом... Из него выходит великий святой... Он получает дар пророчества и чудодействия... на поклонение ему стекаются жители окрестностей... Долгие годы он постится, молится, изнуряет свою плоть, благодетельствует людям, и он уже видит, как Господь призывает его к себе, как являются его мощи... как...

– Карасище!

Это был голос не с того света, а из бурсацкого мира.

– Ты брат Носатого?

Карась видит пред собою страшного Силыча и инстинктивно сокращает свою шею...

«Боже мой, он опять бить пришел меня!» – думает Карась.

– Брат тебе Носатый? – повторяет Силыч...

– Брат, – отвечает Карась, не понимая, к чему идет дело...

– И ладно, коли брат... Теперь ты ничего не бойся... Я за тебя, потому что твой брат – мой первейший друг... Жалуйся мне, кто будет обижать тебя... Слышишь?

– Слышу.

Но, вспоминая коварного второкурсника, Карась недоверчиво смотрел на нового покровителя...

– Тише! – закричал Силыч звонким голосом...

Больше ста человек приготовились слушать Силыча со вниманием. Это показывает, какое он имел влияние в классе.

– Встань! – сказал он Карасю.

Карась поднялся на ноги.

– Вот эту рыбу, – обратился он к классу, показывая на Карася, – никто не смей обижать... Кости переломая тому, кто тронет Карася...

Карасю стало легко на сердце...

– А ты, Карась, жалуйся мне... Скажи, кто тебя трогал?

– Не знаю...

Он действительно не знал, на кого указать...

– Не бойся; говори, кто тебя обижал?

– Никто не обижал...

– Быть не может...

– Да все обижали...

Это было вернее.

– Кто твой аудитор?

– Рыжик.

– Хорошо. Я скажу ему, чтобы он не смел тебя *жучить* (строго выслушивать урок).

– Спасибо, Силыч...

– Будет просить булки, не давай...

– Ладно, Силыч...

– Так слушайте же, – опять обратился Силыч к классу, – беда тому, кто даже пальцем тронет Карася!..

Но на этот раз послышался ответ некоего Паникадилы:

– Ну, невелика еще беда...

Силыч посмотрел в ту сторону, откуда слышался голос. Он ничего не отвечал, а только сердито сжал кулак...

– Не бойся, – сказал он Карасю и стал гулять по классу...

Из мира фантазий Карась быстро и охотно перешел в мир действительности. Точно гора свалилась с его плеч... Оглядывая товарищей, он видел, что впечатление, произведенное Силычем, было очень велико... Легко, весело, вольно стало ему. Он начал наблюдать жизнь занятных часов и скоро увлекся ею...

Но он и не подозревал, что сделался теперь предметом раздора между Сильчем и Паникадиллом...

Кто такое Сильч?

Носатый, брат Карася, до поступления в училище ходил в частную школу, где и познакомился на понюшке табаку с сыном городской вдовы-дьячихи Сильчем. Впоследствии они стали друзьями. Оба они поступили потом во второй приходский класс бурсы... Здесь Сильч остался на второй курс – вот почему и встречаем его, осьмнадцатилетнего парня, товарищем Карася и вместе с ним склоняющим «перо, пера, перу», долбящим «един Бог», изучающим «сумму» и «разность». Сильч был среднего роста, некрасиво скроен, но крепко шит и обладал замечательной силой... Он однажды пришел в гости к своему приятелю Носатому. Отправились на реку. Там мужики ловили рыбу. Один из рыбаков сматывал веревку с ворота. «Дядя, – говорит Сильч, – давай я буду сматывать, а ты останови ворот за палку». – «Ты, кутья, должно быть, с ума сошел», – отвечал мужик. «Так верти же хорошенько». Мужик завертел ворот так, что палки его сливались для глаза в один сплошной круг, с каждой минутой усиливая скорость оборотов. Сильч подставил свою крепкую ладонь, толстая палка ворота вцепилась в нее – и ворот остановился неподвижно. Мужик только подивился на него. При таких крепких мышцах Сильч обладал не меньшею и ловкостью. Приходит он еще раз к Носатому в гости. Теперь они пошли гулять в поле, но лишь только стали подходить к забору, как услышали сзади себя голос мужика, который ругался, зачем они траву мнут. Друзья полезли через забор, на кладбище; мужик за ними. Сильч смело встретил его. «Что тебе надо?» – спросил он мужика. Тот оказался несколько пьяным и, разгоряченный вином, хотел ударить Сильча. Его рука уже описала полукруг в воздухе, но в то время, когда должен был совершиться удар, Сильч быстро наклонился и прошмыгнул под рукой мужика. После того он выпрямился, встал перед мужиком снова и, скрестив руки, сказал: «Бей еще!». Последовал второй размах, и опять напрасно... Сильч снова встал перед ним и опять сказал: «Бей еще!». И на этот раз мужик не мог поймать своим большим кулаком лицо Сильча. Тогда только Сильч произнес: «С трех раз не попал! теперь держись за землю, а не то упадешь» и с этими словами сшиб мужика с могилы... И вот этакой-то господин заодно с Карасем склонял «перо, пера, перу», долбил «един бог» и т. п. Что же делать? Его поздно отдали в бурсу, и до нее он добывал для матери копейку, справляя службы за дьячков, читая покойникам, занимаясь славлением Христа, молебнами и обеднями. Будучи учеником, он в семье и среди знакомых принимался как взрослый человек. Сильч был вообще человек добрый. Ой никогда не употреблял своих здоровых кулаков на то, чтобы вынудить взятку или: добиться от кого-нибудь низкой послуги. Если же он и давал кому затрещину, как, например, Карасю при первом с ним знакомстве, то из этого еще ничего не следует: в бурсе затрещина – все одно, что в лавке мелкая монета. Но поступить под защиту такого господина значило обеспечить себя от всевозможных обид с чьей бы то ни было стороны... Сильч был и неглуп, и не его беда, что так поздно он начал склонять «перо, пера, перу»...

Что такое Паникадило?

Чтобы определить его, надо сказать наперед, что такое озубки. Озубками в бурсе называются куски хлеба, остающиеся на столе от обеда и ужина, и притом такие куски, которые имеют на себе следы чьих-либо зубов. В бурсе есть поверье, что съеденный озубок сообщает силу того, кому он принадлежит. Многие постоянно ели чужие озубки, чтобы сделаться богатырями. Паникадило, великовозрастный ученик, ел их уже несколько лет. Он постоянно бахвалился своей силой, которая действительно была велика. Он со всеми передрался в классе, кроме Сильча. Сильч был для него бельмом на глазу за то, что удержал в своих руках пальму кулачного первенства. Он и боялся Сильча и не хотел верить, чтобы тот смог дать ему трепку. Этот вопрос давно мучил Паникадилу, и он решил, что должно получить на него ответ сегодня...

Карась между тем совершенно успокоился. Он опять сошелся с Жирбасом, который оказался

круглым дураком. «Это не беда!» – подумал Карась и стал играть с ним в трубочисты.

– В которой руке? – спрашивал он Жирбаса...

В это время подошел к нему Паникадило, взял его за воротник сюртука, положил спиной на парту и стал загибать ему салазки...

– Оставь! – кричал Карась.

Паникадило гнул ему ступни за самые плеча.

– Силыч! – завопил Карась...

– Что? – откликнулся тот.

– Заступись!..

Явился Силыч. Паникадило того ждал... Он бросил Карася.

Начались предварительные переговоры.

– Ты зачем, сволочь, трогаешь его?

– А тебе что?

– Не слышал, что я говорил?

– На это ухо глух.

– Значит, вытряски захотелось?

– Ну-ко, тронь!

– А ты думаешь, не трону...

Силыч подвинулся к Паникадиле...

– Задень только, задень...

Паникадило подвинулся к Силычу.

– Слышь, не лезь!

Силыч толкнул Паникадилу плечом...

– Ты не толкайся!

Толчок был отдан обратно...

В такой форме бурсаки, желающие подраться, бросают друг другу перчатку. Началось плюхождение. Специалисты сразу же решили: «Намнут Паникадиле бока», и действительно, не прошло пяти минут, как Силыч сидел верхом на Паникадиле, мял его и спрашивал:

– Живота или смерти?

– Пусти!.. черт с тобой!..

– Карася будешь трогать?

– Да ну тебя!

– То-то!

Потрясши Паникадилу за шиворот, Силыч отпустил его с миром.

Паникадило, отправляясь на свое место, думал про себя: «Черта с два: эти проклятые озубки ничего не значат. А впрочем, я, быть может, мало ел их?». И после того он продолжал есть озубки и, быть может, по настоящую минуту кушает их, но более никогда он не решался схватываться с Силычем...

Таким образом, куча плюх, смазей и салазок, тычков, швычков и плевков, зуботрещин, заушений и заглушений пронеслась довольно благополучно над головой Карася.

И опять повторим: не для всех проходят первые дни бурсацкой жизни так счастливо, как они счастливо миновались для Карася... Но ни для кого они не остаются без последствий: не остались без них и для Карася.

Первые впечатления бursы на Карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни.

По отношению к начальству он сделался полнейшим, закаленным, пропеченным бурсаком... Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нем укоренилось и развилось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после ее никогда уже не мог обращаться со своим начальником просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нем была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда исподлобья; никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным; всегда перед начальником ежился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы и ни в чем не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, Карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и штуки, на которые решались немногие. Дело вот в чем. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, ее воспитателей, ее законы, учебники, бурсацкие щи и кашу – и в то же время должен покоряться начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что запорют, и вот Карась навсегда сбывился пред начальством. Тут действовал не страх, а совесть. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть ее как человек, которого мучит совесть. В Карасе так и устроилось: либо он дерзок с начальником, либо смотрит каким-то чудачком. Многие педагоги, вероятно, чутьем чувствуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как Карась, когда они строго говорят ученику: «Смотри прямо мне в глаза, имей лицо веселое и спокойное, отвечай урок твердо и четко!». «Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, – утверждают такие педагоги, – у того совесть нечиста». Спорить нельзя, что это верно. Как же: ученик сознает ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться перед ним; на душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, Карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски; он не развился еще до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть; он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, из всего этого никоим образом не следует, чтобы потупленность ученика перед учителем всегда была следствием затаенной ненависти первого к последнему: она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о Карасе. Такая замаскированная ненависть Карася изредка разрешалась откровенною с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в

первые годы не было призванием Карася, но, что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда Карась развился несколько, сделалось его сознательным делом... Сначала, и именно в то время, которое берем, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошел до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Боязнь и совесть перед начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую, органическую ненависть к нему. Но о втором периоде после. Теперь мы застаем его пока в состоянии этой придавленности и потупленности перед своими бурсацкими пестунами...

Но и в этот период своего развития, когда характер его еще не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось пред товарищами кланяться, льстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги и булки, искать в их головах тварей разного рода, чесать пятки, бегать за водой и т. п. В продолжение бурсацкой жизни он только три раза дал взятку – и то подошли особые случаи. Он, под покровительством Силыча, еще будучи новичком, скоро приобрел все выгоды и льготы второкурсника. Четырех лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо, он знать не хотел ни аудиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других: его самого чуть не оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям из товарищей и к физической бурсацкой силе отрицательно, притом Силыч и сам не любил взятки и утеснений, потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в редких случаях прибегал к его помощи; большею частью при нужде он сам дрался, и если бывал при этом поколочен, то обыкновенно либо ругался, либо пускал в противника камнем, книгой, линейкой; если же при схватке с более сильным врагом не случалось под рукой оружия, то он употреблял в дело зубы, когти и ноги, то есть кусался, царапался и лягался. Нередко был Карась бит, бивал и других, но все это было в порядке бурсацких вещей – и только. Поэтому-то покровительство Силыча, при таком направлении его, не навлекло на Карася неприязни товарищей. Многие даже любили его. Испытав на себе горькую участь незащитного человека в бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги в пользу угнетенных. В продолжение последних четырех лет училищной жизни он постоянно был аудитором, часто терпел наказания за преувеличивание баллов – и только раз увлекся взяткой. Постоянный его протест в защиту заколоченных личностей выразился в том обстоятельстве, что он особенно любил дураков. Так, без него совершенно погиб бы *Петры Тетеры*, упоминаемый нами в прошлом очерке. Тетеры, обладающий воловьею силою, по характеру был чистейший теленок. Все его колотили, плевали на него, обирали его. Карась в продолжение полугода защищал его и успел-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже до того, что сам однажды получил от него трепку. Карась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, странном явлении выразился тоже своего рода протест против некоторых сторон бурсацкой жизни. Карась был привязан к своему родному дому, но большинство умных бурсаков, к которым он обратился бы со своими интимностями, непременно сделали бы ему смазь, потому что интимности на языке бурсаков носят название *телячьих нежностей*. Ни с кем так не был откровенен Карась, как с дураками, только с ними говорил о родном доме, вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны, только с ними был задушевен не по-бурсацки, а по-человечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни насмешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями, так что это разноречие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзыва, и Карась окружил себя особаго рода дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря Бога

таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии Карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в бурсе Карась не нашел ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти, но на первых порах он не сошелся с ними, а потом так и пошло на долгое время.

Но всего оригинальнее относился Карась к бурсацкой науке. Поступив в училище, Карась знал более половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Только «Начатки», которые приходилось жарить вдолбяжку, составляли для него такую же муку, какую испытывал один древний оратор, набивая себе рот камнями, чтобы усовершенствоваться в искусстве красноречия, но и то ничего: Карась набивал свой рот дресвой тяжело прогрызаемых «Начаток» очень усердно. По другим наукам он шел в первых и не хотелось ему из-за одного предмета лишиться видного места в списке. Над чем товарищи просиживали по целому занятию, он приготавливал в полчаса. Но это самое и повредило впоследствии его бурсацкой карьере. У него было очень много свободного времени, и Карась, учась таким образом два года, привык гулять и ничего не делать. Когда перешел он в следующий класс, от него потребовались более усиленные занятия, и притом занятия бурсацкие, требующие особых туземно-специальных способностей, которые и развили в себе товарищи в продолжение двух лет, пущенных Карасем на ветер. Карасю хотелось и тогда гулять по-старому. Долбежники скоро обогнали его, он спускался все ниже и ниже, и дело дошло до того, что нотата была осквернена нулем карасиным. Стали его сечь. «Что ж, – думал Карась, – посечете да и бросите – самим надоест!» Он неудержимо стремился в Камчатку и, несмотря на розги, достиг своей цели. Здесь лень его развилась до последних пределов. В первый год он по крайней мере носил в класс книги, но на другой бросил и этот, по его мнению, дурной обычай. В сундуке его безобразно были перемешаны между собою клочья порванных вдоль и поперек разных грамматик, арифметик и хрестоматий; писчая бумага шла на беспутное маранье, перья на свистульки и пушки, заряжаемые картофелем, репою и жеваную бумагою, нож перочинный для порчи столов и строганья палок. Вначале Карась приходил к своему аудитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой ученый нуль, но потом, для сокращения занятий, он объявлял ему нуль на целую неделю; но наконец ему надоело и это – он однажды сказал аудитору: «навек мне нуль!». Таким образом, Карась очень решительно отрицал и внешние и божественные науки бурсы. Изредка являлось в нем какое-то темное сознание необходимости учиться, он брался за книжку, но книжка валилась из рук. В одно время двоюродный брат Карася, кончивший курс семинарист, стал требовать к себе нотату и следить за его учением; но Карась нашелся и тут: он сделал другую нотату, свою, и этот документ, с отличными отметками против своей фамилии, отсылал к брату, за что и получал от него гостинцы. Сначала он ленился, собственно, потому, что было ему приятно лениться, но после дошло до того, что его «навек нуль» было возведено в сознательный принцип. Учитель Краснов обратил на него внимание, заставил его сидеть над книгой и в неучебное время, в своей квартире; против системы Краснова не устоял Карась и стал зубрить учебники, но когда его насильно заставили занять второе место в списке, тогда-то и созрел окончательно его бурсацкий «навек нуль!». Он возненавидел вколоченную в него науку, и она поместилась в его голове, как непрощенный гость; значит, в существе дела, он продолжал отрицать ее – разница в том, что прежде он не понимал, что такое отрицал, а теперь, выучив урок, знал, что вот именно этот урок, эти страницы, эти слова ему не нужны. Тогда он стал следить и изучать каждый урок, как злейшего своего врага, который без его воли владел его мозгами, и постепенно, с каждым днем открывал в учебниках множество чепухи и безобразия; это развило в нем анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко урок, он в то же время думал про себя: «этакую, святые отцы, я дичь несу». Карась после долгих личных исследований вполне убедился, что бурсацкая наука, изучаемая иначе, может погубить человека и что только при его методе она послужит материалом, поработав над которым, как над уродливым явлением, можно, не заразившись чепухой, развить в себе мыслительные способности, анализ, остроумие и даже опытность житейскую. И не догадывались богумудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к их учебникам, как психиатр относится к печальному явлению

сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство, каким это образом из бурсы выходят так много дельных и даровитых людей, несмотря на то, что они поглощали учение, ставшее посмешищем всех образованных людей. Как, обыкновенно спрашивают, они не погибли, не ошалели и не оглупели, как сохранились они? Очень просто: в душе их относительно местной науки глубоко укоренился нуль... И да процветает бурсацкое «во веки нуль!». В нем бурсака спасение. И так, нуль, во веки нуль, во веки веков нуль! Аминь, что значит – истинно, или да будет!

Вот вам более или менее подробная характеристика того, что создала из Карася бурса. Отношения его к начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признаком совестливости, рождавшейся от сознания своей ненависти к властям; отношения науки оказались вечным нулем; среди товарищей, исключая последних трех семинарских лет, он не нашел отзыва той стороне своей жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотив всего его бурсацкого существования, то есть отзыва своей привязанности к дому, – и одни лишь дураки были его задушевными приятелями.

Этот-то мотив и был главным двигателем тех походов и действий Карася, которые мы хотим изложить далее и которые случились на четвертом году его пребывания в бурсе.

Воздух первоэездного класса наполняется странными напевами и голосами.

– *Братие, не дерите платия, а берите нитки и зашивайте дырки*, – читает кто-то на манер чтения «Апостола».

– Не мешай, – говорят ему соседи...

– *Марфо, Марфо, что печалишия и молвиши о мнозе*, – продолжает чтец...

– Замолчишь ли ты, сволочь?

– *Печали и болезни вон полезли.*

– Слушай, скотина, перестань...

– *Ему же дань – дань, ему же честь – честь, а что и за честь, коли нечего есть?*

– Братцы, ударьте его хорошенько!

– *И бысть слышен глас с небесе – тп-тпру!*

Вдруг чтец замычал – ему сделали очень невкусную смазь. В классе сегодня обиход церковного пения, и чтец был наказан за то, что мешал другим петь.

– Я, – говорит *Лапша Голопузу* (оба отличные знатоки обихода), – *шарарахну по нотам.*

– А я, – отвечает тот, – *дергану по тексту.*

– Валяй!

– Лупи!

– *Ми-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре*, – запевает Лапша.

– *Все-е-ми-и-и-рну-у-ю*, – аккомпанирует Голопуз каждым слогом в каждую ноту Лапши.

Шарарахнуть по нотам, когда другой певец в то же время дерганет по тексту, и при этом не сбиться – составляло венец церковно-обиходного пения.

К певцам подходит четырнадцатилетний Карась. Лицо его озабочено; он, по всему видно, ожидает учителя с тоской и страхом.

– Братцы, – начал он...

– Поди прочь, не мешай, – ответил Голопуз.

Но Лапша был добрее.

– Чего тебе? – спросил он...

– Не знаю, как «Господи, воззвах» на седьмой глас. Покажи, Лапша.

– Слушай! – и Лапша запел: – «Палася, перепалася, давно с милым не видалася». Так же поется и на глас. Ну-ко, попробуй.

– *Господи, воззвах к тебе, услыши мя, услыши мя, господи*, – запел Карась.

– Напев тот, только различишь сильно...

– А как на пятый глас?

В ответ Карасю Лапша запел:

– *Кто бы нам поднес, мы бы випили*.

– А на четвертый?

– Слушай: «Шел баран: бя, бя, бя». Пой!

Карась на новый напев затянул: «Господи, воззвах». Отправляясь на заднюю парту Камчатки, он все твердил: «палася, перепалася», «кто бы нам поднес» и «шел баран». В обиходе церковного пения употребляется 8 гласов, или напевов, на текст «Господи, воззвах»; слова одни и те же, а напевы разные. Это сильно затрудняло бурсаков. Вот аборигены еще бурсы и придумали разные присловья, по образцу которых нетрудно было припомнить, как поется тот или другой глас... Но Карась не был одарен музыкальным ухом, за что давным-давно его выгнали из семинарского хора. Через несколько минут он перепутал напевы. Посмотрел Карась на Лапшу и Голопуза, думая, не пойти ли опять к ним, но, махнув рукою, оставил это намерение. «Все равно не пойму», – заключил он и печально опустил на ладони голову.

Горек пришелся ему обиход церковного пения.

Странное явление этот обиход. В церковной практике он никогда почти не употребляется. В состав его входят разные духовные песни. Музыка их сильна замогильным какофонием: она до того тягуча, что на один слог текста иногда приходится до семидесяти и более голосовых такт – все нижними, заунывными, душу тянущими, тошмящими нотами. И какая филармоническая голова ввела в бурсу и узаконила в ней это обиходно-церковно-мусикийское безобразие? Обиход был обязателен для всех, но не все имели голос или верное ухо, – были картавые, гугнивые, зайки, имевшие зуб с присвистом – что было делать таким? – ничего: свищи соловьем и воспевай Господу славу! Во всем блеске обиходное козлогласование являлось тогда, когда учитель назначал общее пение, хором всего класса, когда «поющими и зывающими» были голосистые и безголосые, даровитые и бездарные: в то время в воздухе совершался террор музыкальный и петый богородичен представлялся партитурой из какой-то дикой византийской оперы, партитурой, о которой хочется сказать, что это отрывок из оперы «Заткни крепче уши». Удивляемся только, как не заклепаны уши бурсаков так называемым *столовым* пением? Но, характеризуя обиходные композиции, мы должны сказать, что с них тошнило и само начальство, которое, кроме того, понимало, что не все же могли быть певцами, и потому на обиход не обращало внимания, незнание его не служило препятствием для перехода из класса в класс, даже и нотаты не существовало по этому предмету, потому что уроки прекращались иногда на целый год. Но направление бурсацкого образования зависит от главного епархиального начальника, со вкусами

которого сообразуются училищные власти, а в то время, которое нами взято, старшим начальником был любитель всевозможной *столповщины*, и вот бурса наполнилась обиходным воем. Одно к одному, и учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке.

О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о честном экономе училища. Он учредил должность комиссара, выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служителя, в заведывании которых находились жизненные продукты, имея каждый по несколько родственников, содержали их на счет бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере третья часть продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам.

Кроме того, Разумников никого и никогда не наказывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических⁴ расчетов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения: satur venter non studet libenter [сытое брюхо к ученью глухо (лат.)]. Ученики за это любили его.

Он, кроме того, преподавал «Закон Божий» и «Священную историю». И здесь он шел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвертого и т. д. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно слабые, а Разумников хотел, чтобы у него все без исключения учились хорошо. Для достижения такой цели он постановил: «авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятые часы. Для устранения случаев, когда ученик, по интриге с аудитором, являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, что аудитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а аудитор был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсных, они из притеснителей должны были превратиться в помощников своих подчиненных, из начальников в их братьев. Таким образом Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг, но все-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царил дремучая ерунда и свинство.

Одно лишь лежит на совести Разумникова – это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий имеющий какой-нибудь голос при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он наблюдал, на кого какое

⁴ Провинившихся в училище иногда бывало до ста человек сразу. Лишить такое количество, пятую часть всех учеников, обеда либо ужина очевидно было выгодно в экономическом отношении. Почти все экономы брали это во внимание и старались распространить наказание голодом. И действительно, наказание голодом было немаловажным источником так называемых остаточных сумм, из которых начальству даются награды. Скоро ли педагоги убедятся, что голодный ученик как же негоден для науки, как и объевшийся? Не знаем. Только наверное можем сказать, что эту простую истину позже всех поймут экономы учебных заведений.

наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел.

Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю:

– Пропой на седьмой глас...

Уши режет Карась.

Учитель говорит Лапше:

– Покажи ему.

Лапша заливается...

– Повтори, – говорят Карасю.

Уши режет Карась...

– И нынешний праздник не ходи в город...

– Всеволод Васильевич, я уже три недели не был дома...

– И четвертую не ходи...

– Простите...

– А я вот что тебе скажу, – отвечал твердым безапелляционным голосом учитель, – если ты не выучишься петь, я тебя на всю Пасху не отпущу...

Учитель отошел от него.

Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный Карась. Замечательно широкая глотка, которою он был награжден от природы, служила вечным источником его несчастий. Еще дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В бурсе его нарекли Карасем в тот момент, когда он, по приказу регента, пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии, в семинарии, голос его развился до необъятного горлобасия, его выбрали опять в хор, и регент, по прозванию *Капелла* (он же *Редакция*, *Конституция* и *Мелочная лавочка*), употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран: подойдет крепкая нота, мигнет регент – и рывкнет Карась, а при тихих нотах ему велят молчать, – это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом, он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский: должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнее карасино, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбе, как Карась, а звериное, ибо имя его – *Медведь*. Даже по окончании курса Карась, хвативши однажды чарочку-другую и вышедши на улицу, пустил такую руладу, что городской должен был внушить, что подобные рулады суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиной которых был голос, посетило его теперь. «С таким альтом, – думал Разумников, – невозможно не научиться петь». Неувольнение на пасху для Карася было глубоким несчастием, которое подвигло его на многие скандальные похождения...

Он от слов Разумникова тихо плакал.

Кому горе, а кому радость. День поступления Разумникова в училище был днем торжества и

счастья некоего Лапши... Лапша был чудаком, парень шальной и благой. Широкоскулое, серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдававшаяся вперед неестественно грудь и остальная часть туловища, помещенная на коротких ногах, – делали фигуру его в высшей степени странную, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно серьезно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке... Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь: значит, талант. Голосок он имел довольно приятный и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевней мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта так и осталась мечтой: теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке...

Подходит к Лапше Карась.

– Что тебе? – говорит Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо.

– Поучи меня обиходу.

Лапшу медом не корми, а только дай в руки обиход.

– Пойдем. Сначала надо ноты выучить.

Отправились они в Камчатку и затянули – ут, ре, ми, фа и т. д.

– Не так: надо тоном выше!

Карась усиливается тоном выше.

– Чересчур высоко – теперь ниже надо.

Карась на новый манер.

Долго они упражнялись в церковногласии. Спотели оба.

Но вот Лапша съежился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала тоскливую рожу, а потом вдруг поднес к носу Карася кукиш...

– Это что?

– Кукиш!

Лапша после этого захохотал.

– Да что с тобой?

– Не буду учить...

– Голубчик... Лапша...

– Не поймешь ничего...

Лапша убежал...

Остервенение напало на Карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую соленую слезу, которая ползла на щеку.

– Когда так, к черту все!

Он ударил об пол обиходом...

– Проклятое училище! – проговорил он...

Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, Карась от среды до воскресенья провел бы время, мирно поживая на лаврах, но теперь он был раздражен, и жизнь его пошла ломаным путем.

Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька.

– Нет ли у тебя хлебца?

– Этого не хочешь ли?

Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально...

Карась идет развлечься на училищный двор.

– Карасики, пучеглазики! – говорит ему *Тальянец*, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами.

– Кривы ножки, кочерыжки! – отвечает Карась...

Тальянец начинает его преследовать.

– На кривых ногах пять верст дальше! – отвечает Карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс.

Подходит к нему другой дурак, *Зябуня*.

– Карасик, – говорит он ласково.

– Ты что, животное безмозглое?

– Карасик...

– Поди прочь, пустая башка!

Пустая башка тоже отходит от него печально...

Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть...

– Черт знает, какая тоска, – объясняет он приступы совести...

Идет Карась ко второурездному классу, берется за ручку двери и начинает стучать ею: ученики низших классов, не имевшие права входить в высший, так вызывали второурездных. Выходит ученик.

– Кого тебе?

– Тавлю.

– Сейчас.

Вышел Тавля.

– Чего тебе?

– Дай в долг.

– Сколько?

– Пять копеек.

– В воскресенье семь.

– Нет уж, после воскресенья, в другое. Я не уволен. Откуда ж мне взять?

– Тогда десять.

Карась задумался на минуту.

– Давай, – сказал он, махнув рукою...

Тавля отсчитал ему пять копеек...

Карась отправился в сбитенную, съел там на три копейки сухарей, а на две выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал Карась.

– Боже мой, – проговорил он, – неужели не отпустят меня на Пасху? Пойду попрошу еще Лапшу: не поучит ли? А нет! черт с ними!.. не выучиться мне!..

После того Карась из пустяков каких-то полез в драку, и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его все-таки поколотили.

Для Карася не было наказания тяжелее, как неотпуск домой. И вот еще порядочный бурсацкий учитель Разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они, когда запрещают человеку, в виде наказания, переступить порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвергают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нравственному правилу, за которые штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещенному поступку. Неужли такие плоды в видах здоровой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? за что братья и сестры лишаются свидания со своим братом? за что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе – к чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права, это дело нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они любят своего сына, меньшее могут иметь на него влияние, нежели черствый педагог? Многие педагоги скажут на это: «да». Был же, например, болван, которого мы называли Медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит, ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие черные педагоги, как лишенные деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям!

Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом. Бог с ними. Лучше посмотрим, что случилось с Карасем, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую Пасху.

Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если угодно, один, но в двух *естествах* – Ливанов пьяный и Ливанов трезвый.

Третья перемена, которая была после обеда, назначалась для арифметики... Стоят при входе в класс караульные, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища...

– Каков? – спрашивает один караульный...

– Руками махает, значит, того...

– Это еще ничего не значит...

– Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табаку?

– Именно так... Значит, пишет по восемнадцатому псалму.

Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают:

– Братцы, Ливанов в пьяном естестве...

Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, Пушка, надевает на себя шубу овчиной вверх... Он становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов... Входит Ливанов. На него бросается Пушка...

– Господи, твоя воля, – говорит Ливанов, отступая назад и крестясь...

Пушка кубарем катится под парту.

– Мы разберем это, – говорит Ливанов и идет к столику.

В классе шум...

– Господа, – начинает Ливанов нетвердым голосом...

– Мы не господа, вовсе не господа, – кричат ему в ответ...

Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе:

– Братцы...

– Мы не братцы!

Ливанов приходит в удивление...

– Что? – спрашивает он строго...

– Мы не господа и не братцы...

– Так... это так... Я подумаю...

– Скорее думайте...

– Ученики, – говорит Ливанов...

– Мы не ученики...

– Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю кто.

– Кто, Павел Алексеевич, кто?

– Кто? А вот кто: вы – свинтусы!..

Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов начинает хмелеть все больше и больше...

– Милые дети, – начинает Ливанов...

– Ха-ха-ха! – раздается в классе...

– Милые дети, – продолжает Ливанов, – я... я женюсь... да... у меня есть невеста...

– Кто, кто такая?..

– Ах вы, поросята!.. Ишь чего захотели: скажи им кто? Эва, не хотите ли чего?

Ливанов показывает им фигу...

– Сам съешь!

– Нет, вы съешьте! – отвечал он сердито.

На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлечшись их примером, один за другим, ученики показывали своему педагогу фиги. Более ста бурсацких фиг было направлено на него...

– Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!..

– Ребята, нос ему! – скомандовал *Бодяга* и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю... Примеру Бодяги последовали его товарищи...

Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, а наконец он печально поник головой. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы...

– Друзья, – заговорил учитель, очнувшись...

Господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали...

– Послушайте же меня, добрые люди, – говорил Ливанов, совсем хмелея...

Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны...

– Слушайте, слушайте!.. тише!.. – заговорили ученики.

В классе стихло...

– Я, братцы, несчастлив... Я женюсь... нет, не то: у меня есть невеста... опять не то: мне отказали... Мне не отказали... Нет, отказали... О черти!.. о псы!.. Не смеяться же!

Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова... Он заплакал...

– Голубчики, – начал он, за меня никто не пойдет замуж, никто не пойдет...

Рыдать начал Ливанов.

– У меня рожа скверная, – говорил он, – пакостная рожа. Этакие рожи на улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы...

– Гадок, гадок, гадок, – подхватили бурсаки...

– Да, – отвечал их учитель, – да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мне в рожу.

Ученики начинают плевать по направлению к нему.

– Так и надо... Спасибо, братцы, – говорит Ливанов, а сам рыдает...

У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив – он сам отказался от нее.

Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был *начальник*, и они не опустили случая потравить его.

– Братцы, – продолжал он, – я отхожу ко Господу моему и к Богу моему... Я вселюсь...

– Смазь ему, ребята! – крикнул Пушка.

– Что такое? – спросил Ливанов...

– Смазь...

– Что *суть* смазь?

– А вот я сейчас покажу тебе, – отвечал Пушка, вставая с места...

– Не надо!.. сам знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ах вы, каналы!.. над учителем смеяться!.. а?.. – говорил Ливанов, приходя в себя... – Да я вас передеру всех... Розог!.. – крикнул он, совсем оправившись...

В классе стихло...

– Розог!

– Сейчас принесу, – отвечал секундатор.

– Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!..

Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт, – думали бурсаки, – неужели в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция опьяненного состояния, после которого с большею силою продолжает действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами...

– Розог, – сказал он однако, не забывая своего желания...

– Что Павел Алексеич? – отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя...

– Розог...

– Все люди происходят от Адама... – говорил ему секундатор...

– Так, – отвечал Ливанов, опять забываясь, – а роз...

– Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно...

– Не понимаю, – говорил Ливанов, уставясь на секундатора.

– Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши Казанский собор...

– Ей-богу, не понимаю, – говорил Ливанов убедительно...

– Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии...

– Где?

– Под девятой сваей...

– Опять не понимаю...

– Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех...

– Ты говоришь: грех?

– Смертный грех...

– Ничего не понимаю...

– Всякое дыхание да хвалит...

– Что хвалит?.. скотина!.. винительного падежа нет в твоей речи!.. черт ты этакой!.. По какому вопросу познается винительный падеж?

– По вопросу «кого, что?».

– Так кого же хвалит? что хвалит? черт ты этакой, отвечай!

– Черта хвалит.

Ливанов посмотрел на него злобно...

– Ты это серьезно говоришь? – спросил он.

– Вот тебе крест.

Ученик перекрестился.

– Ты мне сказал «тебе»?

– Я, тебе, мне, мною, обо всех...

– Уйди!.. убью! – отвечал, озлившись, Ливанов, – прошу тебя, уйди!.. Я в пьяном виде не ручаюсь за себя...

– Он ушел, – говорит ученик...

– Он?. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!.. Черт же с тобой, скотина, – говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком... – Не хочешь уйти? Так я же уйду... Я пьян... Я уйду...

Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем...

– Это все пустяки, – говорит он, – в жизни все пустяки, – и выходит на лестницу...

Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер...

– Оступился, черт возьми, – говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница...

Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу...

– Вы, кажется, замарались? – спрашивает он. – Позвольте, я вас почищу.

– Не надо, друг мой, вовсе не надо... Все пустяки...

Учитель наконец ушел домой.

Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве.

Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе – прилично, разумеется прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек, хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей; но по крайней мере он не запарывал своих учеников до отшибления затылка... Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников – представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в

трезвом естестве...

Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы...

Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему аудитору «нуль навеки», но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление? – подумал он. – А ведь я знаю деление... А дальше что?.. Именованные числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздеру...» Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби – это что такое?» – сказал он. Понял он и дроби... Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? десятичные дроби... Не хочу читать... Довольно». После этого он Куминского обратил в ключья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаменателю», и хотя у Карася стоял в нотате нуль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось...

Учитель вызвал к доске Секиру. Секира, несмотря на то, что был аудитор, путался...

– Дурак, – сказал ему Ливанов...

– Дурак и есть, – подтвердил Карась из Камчатки...

– Кто это говорит? – рассердившись, спросил Ливанов... Ему дерзким показался ответ Карася...

– Я, – отвечал Карась. – Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю: ну не дурак ли?

– Ах ты, скотина, – закричал Ливанов...

– Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке, значит, дурак из дураков, а все-таки «приведение знаменателей» знаю!

– Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю...

– Запорите...

– К доске!..

Карась вышел и отлично ответил урок...

– Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? – говорил Карась, показывая на Секиру. – Даже я умею это сделать.

Ливанов подошел к Карасю и Секире.

– Дай мел, – сказал он Карасю...

– Извольте...

Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. Делая крест, он говорил:

– Пентюх, перепентюх, выпентюх!..

– Ну, дурак и есть, – подтверждал Карась...

После этого Карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько минут своим ответом, он, однако скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки.

Сняв с краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую, в треугольнике натянул веревочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы... Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о Пасхе. «Черти, – думал он, – неужели так-таки и не пустят на Пасху?.. Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне все одно». – «Так ли?» – рефлектирует он. – «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой...

Раздается на весь класс страшный визг, произведенный Карасем для скандала.

– Кто это? – спрашивает изумленный учитель.

– Я это, – отвечает храбро Карась...

Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся...

– Что это значит?

– Ничего не значит.

– Скотина...

Карась сел спокойно. Учителя поразил этот случай, и потому только он не отпорол Карася...

«Врешь, – думает между тем Карась, – ты меня отпорешь!» – и берет в свои руки цевницу...

Раздается еще сильнейший его визг...

Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты...

– Я наказан, – говорит при приближении к нему Ливанова...

– Стой, скотина, весь класс...

– Буду стоять.

Учитель недоумевает, что случилось с Карасем. Однако мало-помалу он успокаивается.

«Нет, ты меня отпорешь!» – думает Карась...

Берет он в руки цевницу и, водя по ней прутком, производит третий, сильнейший визг...

На этот раз Ливанов совершенно сбесился. Он бросился на Карася с поднятыми кулаками...

– Убью, мерзавец!

Карась струсил, видя разъяренного учителя, и когда Ливанов подбежал к нему, он вскочил на ноги и понесся над головами товарищей, по партам, к двери, за которою и скрылся.

Учитель долго не мог прийти в себя.

Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же время изумлен. «Понять не могу, – думал он, – что случилось с этим мерзавцем?» Факт выходил своею оригинальностью из ряда обыкновенных фактов, и, должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донес о карасиных деяниях инспектору. Иначе Карасю пришлось бы целую неделю таскать из своего тела прутья: за подобные его дерзости в бурсе драли жестоко, до того жестоко, что после сечения относили в больницу на рогожке. Счастье Карася...

Но Карася все-таки высекли в тот день. Он в озлоблении пошел бить стекла училища, был пойман на этом деле, и хотя призывал всю небесную силу во свидетельство того, что он нечаянно разбил стекло, однако ему *влепили*, как выражается он, около пятидесяти.

Таким образом, наказание Разумникова имело свои добрые последствия: оно бесило только человека, а нисколько не наставляло на путь истины.

Посмотрим, что было после.

Ученики отпускались домой из бursы по письменным билетикам от двенадцати часов субботы до пяти часов воскресенья. В субботу разошлись ученики, большинство по домам. Училище опустело.

Карась остался в бурсе.

Ученики в свободное время обыкновенно сидели в спальнях. Карась находился в *Сапоге*. На него напала невыносимая тоска. Он бросился на кровать, покрыл свою голову подушкой и зарыдал. Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве может ребенок серьезно страдать? Разумеется, большинство читателей ответит: нет. Между тем бывают детские печали глубокие и сильные, печали, за которые человек не может простить и тогда, когда станет взрослым. Карась в ту минуту, когда лежал на кровати, всех ненавидел. Разве может глубоко ненавидеть ребенок? Может. Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы ненавидеть и в зрелых годах. Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести – бурса превосходное адовоспитательное заведение!

Для городского, привыкшего проводить праздники дома, самый гадкий день – праздничный день в бурсе.

Карась кое-как дождался всеношного.

Учеников разделили на две партии: одна отправлялась в лаврскую церковь, другая оставалась в бурсе. К первой принадлежали имевшие сколько-нибудь приличную одежду, ко второй оборвыши и отрепыши, которых стыдно было даже бурсацкому начальству пустить на свет Божий. Карась остался с отрепышами, потому что был не уволен в город, а таких не пускали в лаврскую церковь.

По звонку в шесть часов вечера оборвыши и отрепыши отправились на домашнюю всеношную в так называемый «пятый номер», то есть класс под N 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стене ее висел огромный образ Христа, сидящего на престоле; пред тем образом и совершалась всеношная одним из лаврских монахов. Ученики сдвинули парты в одну сторону, к стене. Образовалась довольно обширная площадка, на которой и поместились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около которого поместилась *сборная братия*, то есть певчие-любители из оставшихся в бурсе оборвышей и отрепышей.

Карась в детстве был очень религиозный мальчик. Кроме того, на сердце его накопилось очень много горя. Он, лишь только началось всеношное, встал на колени и начал усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в детстве, было беспредметное, неопределенное. Он ни о чем не просил, ни на кого не жаловался Богу; он, отрешаясь от внешнего мира, стремился куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна... Так прошло около полчаса, и Карась с каждым поклоном разгорался духом. Но это благодатное настроение было неожиданно нарушено самым пасквильным образом.

Когда Карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сделал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая свою пясть, в которой сейчас держал лицо Карася, увидел ее мокрою...

– Ты плачешь, – сказал он Карасю...

Религиозный экстаз Карася миновался.

– У тебя слезы? – повторил Тетеры.

Карась озлился, тем более что ему было стыдно своих слез...

– Безмозглая башка, – отвечал он и дал пинка Тетеры.

– Да о чем ты плакал? – спрашивал глупец Тетеры.

– Отстань, осел!

– Скажи же, – допрашивал добродушный глупец.

– Вот тебе!

Карась дал ему очень чувствительный пинок.

– Подлый Карасище, – приветствовал его дурак...

Таким образом, молитвенное настроение карасинога духа было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать религиозность своих сомолитвенников. Ученики любили свой бурсацкий храм более, нежели лаврский, потому что богослужение, которое они совершали, возможно было только в том именно храме, в котором и драли их. Домашняя служба была короче и веселее: ее по возможности сокращали и делали занимательною. Дьячок из учеников, читая псалмы, перебирал слова до того быстро, что слышалось только шелканье языком и губами, а смыслу... смыслу бурсакам и не требовалось... «Бог с ним!..» – говорили они... Для характеристики бурсацкого богослужения мы должны сообщить читателю следующего содержания рассказ. Сидели в горячей бане два купца, один очень жирный, другой так себе, и разговаривали они о духовных делах. «Нет, ты скажи мне, – говорит купец так себе, – что такое дьячок?» – «Известно, что: служитель Божий», – отвечает жирный. «А вот и врешь». – «Что же такое дьячок, объясни!» – «Сейчас объясню, – отвечает задавший вопрос. – Дьячок, – говорит он, – есть дудка, чрез которую глас Божий проходит, но... ее не задевает – вот что!» – «Это так, – подтвердил жирный, – ты в самую центру попал». После такого определения читатель поймет нас, когда мы скажем, что бурсаки во время всенощного были не молельщиками, а чистыми дудками... Но, кроме бестолкового дьяческого чтения, было еще безобразное пение. Сборная братия любила хватить, ляпнуть, рывкнуть, отвести кончик, – эти термины означают громыгласия бурсы. Поющая и вызывающая бурса стоит и подзадоривает тех, у кого хорошо устроены дыхательные мехи и горловые связки... Ревет молящаяся бурса... Но это все еще ничего бы: у нас на Руси в большинстве случаев церковные службы сопровождаются нелепым чтением и аневрничным пением, но богомольный русский человек давно привык к тому, и его религиозное чувство все-таки питается во время службы; но этот же стерпевшийся наш богомольный человек, посетив бурсацкую всенощную: непременно возмутится духом. Мы видели, как Карась во время службы смазь получил. Такие явления во время всенощной были очень обыкновенны. Молящиеся толкались, смеялись, плевались... Отрепыши в первых рядах только стояли прилично, а в середине, где ученики были заслонены окружающими их товарищами, играли в карты и костяшки. Хорь лазил по карманам. Чахотка, второкурсник, спал на тулупе, Павка, городской мальчик, не отпущенный домой за леность, учил урок... Смази, шипки, плевки, подзатыльники рассыпались только *несколько* реже и скромнее сравнительно с обыкновенными занятыми часами.

Все это в бурсе называлось богослужением...

Но не можем удержаться от горячего слова. И не будем удерживаться. Договоримся до конца – благо, время такое подошло, что *можно* говорить и *следует* говорить.

Бурсацкая религиозность своеобразна. В бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с

полною личною апатией к делу веры. В бурсацком фанатизме, как и во всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намека нет на чувство всепрощающей, всепримиряющей, всесравнивающей христианской любви. По понятию бурсацкого фанатика, католик, особенно же лютеранин – это такие подлещи, для которых от сотворения мира топят в аду печи и куют железные крючья. Между тем всякий бурсацк-фанатик более или менее непременно невежда, как и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина, он ответит бестолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, несмотря на то, все-таки будет считать своей обязанностью, своим призванием ненависть к католику и протестанту. Но жаль учеников, жаль: если препарировать бурсацкую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела пред неспециалистом или недалководидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсацкая религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? – она окажется полным, абсолютным *атеизмом* – не сознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки. Они называют себя верующими, и лгут они: у них и для них не существует того Бога, к которому так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастии. И что может развить в них религиозное чувство? Уж не *божественные* ли науки, которые зубрят они с проклятием и скрежетом зубным? Эти-то науки, устилаемые их *сочинителями* дерьмом с чертоплешинами, и развращают человека. Науки бурсацкие таким писаны диким языком, вымощены таким непроходимым камением, что могут произвести в душе человека разве только сыворотку, а никак не возбудить в нем религиозное чувство. Прочитать бурсацкий учебник так же легко, как перекусить толстую веревку. Но попытайтесь перекусить эту веревку, попытайтесь выучить наизусть, слово в слово, буква в букву, всю ерунду бурсацкую и в то же время ухитритесь поверить ей, обратить ее в свое убеждение, «в плоть и кровь», как приказывает своим ученикам один из семинарских педагогов, – тогда, честное слово, вы ошалаете навеки. Но главная причина, настоящая сущность дела все-таки не в каменологии, не в дресвологии, не в тернологии туземных наук. Религия, хотя и не проповедует она в бурсе, как у поклонника Магомета, огнем и мечом, но проповедует розгой, голодом, дерганьем из головы волос, забиением и заушением. Например, Лобов велит *вознести* ученика на *воздусях*, положить под самый нос его «Закон Божий» и в то же время кричит дико: «Учи, сейчас же и учи урок!». Мы думаем, что бурсацкое начальство, поступая так, постепенно и незаметно, однако самым радикальным путем, направляет мирозерцание своих учеников к полному атеизму. Когда дети начинают подрастать, то из них лишь одни идиоты остаются упорствующими в фанатизме, вынося из бурсы только боязнь черта и ада да еще ненависть к иноверцам и ученым, а любви к человеку, заповеданной Христом, того чувства и тех начал, которые ныне называются гуманностью, они не получают от бурсы, потому что бурса вечно *аскоченствует*, убеждения ее носят на себе всегда несчастное клеймо «Домашней беседы», этой плевательницы нашей российской духовной литературы. Но при дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьем неладность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их. Так формируется большинство; но затем остается меньшинство – самые умные люди из семинаристов, цвет бурсацкого юношества... Эти умные бурсаки распадаются на три типа... Одни из них – по направлению своему идеалисты, спиритуалисты, мистики, и в то же время по натуре народ честный и славный, добрый народ. Они во время самостоятельного развития своего, силою собственного, личного ума и опыта, очищают бурсацкую веру, всецеленную в их душу, от всевозможных ее ужасов, потом создают новую веру, свою, человеческую, которую, надев впоследствии рясы и сделавшись попами, и проповедуют в своих приходах под именем православной веры. Таких попов и народ любит и так называемые *нигилисты* уважают, потому что эти попы – люди хорошие. Другого типа бурсаки – это бурсаки материалистической натуры. Когда для них наступает время брожения идей, возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой,

рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам, после того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовное звание, считая делом не порядочным – проповедовать то, чего сами не понимают, и за это кормиться на счет прихожан. Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им, в качестве материалистов, приходится отрицать, но потом они находят в себе силы помириться с своим отрицанием, успокоиваются духом, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные и, если не вдаются в эпикуреизм, люди деловые, которыми все дорожат. Они, сделавшись атеистами, никогда не думают проповедовать террор безбожия. Самый атеизм они определяют совсем не так, как принято у нас определять его. Вот как они резюмируют свой нигилизм: «В деле совести, в деле коренных убеждений насильственное вмешательство кого бы то ни было в чужую душу незаконно и вредно, и поэтому я, человек рациональных убеждений, не пойду ломать церквей, топить монахов, рвать у знакомых моих со стен образа, потому что через это не распространю своих убеждений; надо развивать человека, а не насиловать его, и я не враг, не насилователь совести добрых верующих людей. Даже на словах с человеком верующим я не употреблю насмешки, а не только что брани, и остроты над предметами, которые дороги для человека, будут допущены мною только тогда, когда дозволяет их мой собеседник, – иначе я и говорить с ним не буду о делах веры. Но, не стесняя свободу совести моих ближних, не желаю, чтобы и мою теснили. Научи меня, если сумеешь? Не можешь, отойди прочь. Я тебя поучу, если желаешь? Не хочешь, и толковать не стану – тогда мое дело сторона. При таких отношениях мы можем ужиться, потому что честный атеист с честным деистом всегда отыщут пункты, на которых они сойтись могут. Что такое атеизм? Безбожие, неверие, заговор и бунт против религии? Нет, не то. Атеизм есть не более, не менее, как известная форма развития, которую может принять всякий порядочный человек, не боясь сделаться через то диким зверем, и кому ж какое дело, что я нахожусь в той или другой форме развития. А уж если кому она кажется горькою, то приди и развей меня в ином направлении. Если же будете насиловать меня, я прикинусь верующим, стану лицемерить и пакостить потихоньку – так лучше не троньте меня – вот и все!». Вот какие иногда бывают бурсаки. Этим тоже все любят и уважают, и честный поп, встретясь с атеистом-товарищем, охотно подаст ему руку, если только он в существе дела порядочный человек. Так и следует. Но бурса из умных учеников своих создает еще род людей, которые, ставши атеистами, прикрывают свое неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными – они до глубины проникаются смрадною ложью, которая убивает в них всякий стыд и честь. Желая скрыть собственное неверие, рясоносные атеисты громче всех вопят о нравственности и религии и обыкновенно проповедуют самую крайнюю, безумную нетерпимость. Беда, если эти рясофорные атеисты делаются педагогами бурсы. Будучи убеждены, что неверие лежит в природе всякого человека, и между тем поставлены в необходимость учить религии, они вносят в свою педагогику сразу и иезуитство и принципы турецкой веры. По их понятию, самый лучший ангел-хранитель бурсацкого спасения – это фискал, наушник, доносчик, сикофанта и предатель, а самое сильное средство развить религиозность – это плюха, розга и голод. Терпеть не могут они Христова правила, апостолам данного: «в доме, где не верят вам, отрясите прах ног ваших – и только»; нет, им хочется в христианскую веру напустить туретчины. «Ототрем, – думают они, – человека за погибель души его и стащим потом в Царствие Небесное за волоса хоть – и делу конец!» Эти рясофорные атеисты развивают в себе эгоизм – источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным началом, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным. Они проповедуют яро не потому, что боятся за вечную погибель своего прихода, а потому, что боятся вечной гибели своего дохода: при каждой проповеди они щупают свои карманы, нет ли в них дыры, и нельзя ли дыру, если она есть, вместо заплаты заклеить проповедью. Эти рясофорцы бывают главными прислужниками тех барынь и купчих, которые постоянно ханжат и благочестиво кукеются на Руси: они обирают глупых женщин; кроме того,

из них же выходят самые усердные церковные воры и святотатцы. Но, имея широкие карманы, в которых лежат деньги верующих и усердствующих прихожан, не хотят часто шевельнуть пальцем, чтобы помочь какой-нибудь вдове голодающей, из их же ведомства, – благо, свое чрево давным-давно набито ассигнациями. Если в их руки попадает власть, то они употребляют ее возмутительным образом; если они чувствуют в своих руках силу, то употребляют ее на зло. Например, один знакомый нам литератор напечатал две очень дельных и честных статьи, касающихся духовного вопроса, – так что же? Он получил анонимное письмо, в котором говорится, что если он не прекратит своих статей, то его мать, вдова, будет выгнана из казенной квартиры и лишена последнего куска хлеба, а ему, литератору, лоб забреют. Я уверен, что это писал непременно рясофорный атеист, потому что когда к рясофорному являешься с откровенным словом, он против слова поднимается с дреколем. Вот каких господ заготавливает бурса! Но таких господ презирают честные бурсаки, которые считали себя не в праве надеть рясу, и верующее наше духовенство, образованная часть его, – добрый поп всегда подаст руку доброму атеисту и с отвращением встанет спиной к своему же сослуживцу, но не верующему в свое призванье. Так и следует. Но пока довольноно. Все эти мысли пришли нам в голову по поводу бурсацкого богослужения, которое для Карася началось так благоговейно, потом было прервано смазью, а кончилось тем, что он под конец всенощного играл в чет и нечет.

Кончился для Карася гадкий бурсацкий праздник.

«Неужели меня не уволят и на Пасху?» – думал он.

Страшно сделалось ему. Он знал, что такое в бурсе Пасха.

Лучше бы совсем не существовало Пасхи в бурсацком календаре. Этот праздник ожидался учениками с нетерпением, все думали встретить в святой день что-то особенное, выходящее из ряду вон; лица торжественные, светлые, добрые; товарищи внимательны друг к другу и ласковы; ни одной нет затрешины во всей бурсе. Хоры после спевки идут в церковь, поют с увлечением и звонко, весело христосуются и после службы возвращаются в бурсу, где и разговляются. Все это очень мило; но вместе с разговеньем улетает из бурсы и праздник. Если бы дали ученикам простую рекреацию, они и справили бы ее, как обыкновенно, но Пасха – праздник особенный, и проводить его следует иначе. И вот бурсаки снуют из угла в угол, ищут своего праздника и найти не могут. Где же он? Затерялся где-то, а вернее всего, оставлен дома, на родине. Поневоле припоминают бурсачки Христов день под родным кровом, все чувствуют, что не так надо праздновать его, и уже христовский вечер становится невыносимо скучен, на всех нападает тоска и апатия. Прожить целую неделю в таком состоянии – дело крайне тяжелое. Оттого-то Карасю и прописывали бурсацкую Пасху вместо казни: на дельное что-нибудь она и не годилась.

Но Карась поклялся, что он во что бы то ни стало отделается от этой казни... Но что же он предпримет?

«Сбегу», – чаще и чаще приходит ему на мысль.

С этой блаженной мыслью он и заснул в тот день.

«Сбегу», – думал Карась, проснувшись, и на другой день поутру.

Эта мысль начинала нравиться Карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленького бегуна. Событие было такого рода. Привезли в училище Фортунку, деревенского мальчика, едва ли не семилетнего ребенка, который долго скучал по родине. Этот Фортунка, когда ему сделалось очень горько от бурсацкой жизни, ночью задумал совершить бегство. Он предпринял такой подвиг, не зная, где найдет приют, и не имея денег, а только полагаясь на слова песни, певавшейся в училище, в которой говорилось, что однажды шел бедный малютка, он весь перемок и дрожал от холоду, но думал: «Бог и в поле птичку кормит и росой кропит цветы, – и меня он не оставит», и

действительно, мальчику попала навстречу старушка, которая и приютила его у себя... Полагаться Фортунке больше было не на что, но он все-таки встал с своей постельки глубокой ночью на ноги, натянул на себя свою одежду, завязал что-то в узелок и вышел на двор. «Вечер был, сверкали звезды», как говорилось в приведенной же нами песне. Фортунка полез через забор, вот он уже сидит под открытым небом и думает со страхом, куда ему направить путь. «Но ладно: Бог и в поле птичку кормит». Бурсацкая птичка хотела спорхнуть с забора...

– Стой! – услышал Фортунка чей-то грозный голос...

Его сняла с забора чья-то сильная рука и поставила на землю... Пред Фортункой оказался солдат Цепка, училищный хлебопек, который и поймал его на месте преступления...

– Ты что затеял?

– Ей-Богу, ничего не затеивал...

– Пойдем-ко со мной, дружище...

– Прости, Цепка...

– Пойдем, пойдем...

Солдат повлек за собой Фортунку. Он привел его в свою пекарню. Об этом солдате мы уже однажды упоминали как о человеке, несмотря на жесткость и грубость его характера, вообще добром...

– Ты что задумал, а?

– Я только погулять хотел...

– То есть в беги пуститься?.. это с чего?

– Здесь скучно, Цепка...

– Скучно? а инспектор отдерет, так весело станет? И куда ты, такой мальчишка, пойдешь?

– Домой пойду...

– Ах ты, каналья! Где же тебе домой идти?

Однако Фортунка понравился солдату.

– Присядь-ко лучше вот здесь, – сказал он мальчику, – и поешь лепешек с маслом...

Фортунка от ласкового слова повеселел и начал есть данную ему лепешку. Солдат разговаривал с ним о его доме и совершенно приголубил.

– Ну, поел, и ступай с Богом спать. И не думай уходить из училища – поймаю...

Фортунка пришел в свою спальную и заснул в ней сном птички Божией.

Но на другой день Цепка, несмотря на доброту свою, счел обязанностью донести о попытке дезертира... «Отдеру», – сказал инспектор. Но когда к нему привели Фортунку и он в лице его увидел совершенного ребенка, в котором и сечь-то нечего, тогда инспектор помиловал его...

Но бегство было одним из сильнейших преступлений бурсы. Поэтому замысел Фортунки, хотя и кончился он пусяками, возбудил в училище толки.

– Бегуна поймали, – рассказывали в Камчатке.

– Что же с ним сделали? – спрашивал с любопытством Карась.

– Ничего...

– Неужели?

– Инспектор простил.

«Убегу же и я, – укреплялся в своей затаенной мысли Карась, – ведь не заперют же, если и поймают».

Он стал разговаривать с товарищами о бегунах...

– Много у нас бегунов?

– Есть-таки...

– А ведь плохо им придется...

– И очень даже...

– А правда, – спросил один, – что наши на дровяном дворе *спасаются*?

– Правда, только ты никому не говори...

– Я фискал, что ли?

– То-то. Я сам бывал у них в гостях.

– Как же они живут?

– Отлично живут. В дровах поделали себе келью и спасаются в ней...

– Чем же они питаются?

– Воруют. Вот уже второй месяц живут так... Иногда милостыню просят... Иногда приходят сюда, в училище, и наши дают им хлеба...

– Не выдадим своих, – ответили слушатели с гордостью.

«Убегу и я», – думал про себя Карась и с каждой минутой разгорался духом...

– А что *жених* наш? – спросил кто-то об ученике, упоминаемом в прошлом очерке. – Он, никак, теперь пятый раз состоит в бегах. Сколько раз его драли за бегство?

– Четыре раза, а все-таки нейдет... Отпорют его, он бежит за восемьдесят верст, да пешком лупит. *Явится домой, его начинает драть отец, от отца он бежит в бурсу. Отстегают здесь, он опять домой: так и гоняют его розгами с места на место.*

«Но ведь не засеки жениха, – ободряет себя Карась, жадно прислушиваясь к речам товарищей, – и я жив останусь».

– Но что жених? Нет, вот бегуны-то: Даниловы...

– И ведь городские еще?

– Да: напишут, бывало, фальшивые письма от родителей, что они оставлены дома по болезни, начальство не беспокоится, дома этого не знают, и Даниловы гуляют себе по городу. Так они однажды гуляли целую треть года...

– А правда, что их однажды поймали вместе с мошеннической шайкой?

– Еще бы. Но потом другие мошенники выкупили из полиции. Они опять долго торговали краденой нанкой и имели большие деньги. Когда же негде было стянуть, нанимались в поденную работу.

– Ай да ну! Но не слышно ли чего о Меньшинском?

– Что-то не слышно... А он тоже давно в бегах...

– Вот этот будет почише всех. Помните, как он однажды оборвал у инспектора часовую цепочку и бросился на него с перочинным ножом? Он когда-нибудь зарежет его. То ли еще было с ним: он раз кинулся с ножом на своего отца.

– И все это ему проходит. Отпорют и только.

– Другому давно бы дали волчий паспорт, а у него покровители есть.

Про Меньшинского говорили правду. Он был примером того, что жестокое воспитание может сделать из человека. Из Меньшинского оно сделало чистого зверя, который не задумался бы под горячую руку и приколоть кого-нибудь. Долго толковали о нем, предполагая, чем разыграется последнее его бегство. Пред тем, по просьбе отца, его так наказали, что совершенно избитого на рогожке отнесли в больницу.

У Карася гвоздем села в голову мысль покинуть бурсу. «Если и накажут, то все же не так, как Меньшинского: я воровать не буду и с ножом ни на кого не брошусь. Пусть секут потом; теперь по крайней мере погуляю». Он стал обдумывать план бегства. И он, предпринимая такое смелое дело, был не много разумнее Фортунки. Но Карась ходил около ворот и выглядывал, как бы шмыгнуть за них: это было дело нелегкое, потому что привратник строго следил за бурсаками и без билета, данного от инспектора, никого не пропускал в ворота.

«Лишь бы только уйти, а там пойду, отыщу дровяную келью и присоединюсь к спасенным. Не примут, удеру куда-нибудь – все одно».

Так размышлял Карась, стоя у ворот училища, с твердым намерением исполнить свой замысел.

Но вдруг распахнулись двери училища настежь, и в них показалась телега. Сзади шел священник. Телега остановилась у дома инспектора, к которому и отправился священник. Карась из любопытства заглянул в рогожку, которою был прикрыт экипаж, и невольно попятился назад. Из-под рогожки на него сверкнули два страшных глаза...

– Меньшинского привезли! – закричал он.

В телеге лежал, связанный по рукам и ногам, действительно Меньшинский. Он, убежав за несколько верст, в свою деревню, был накрыт отцом ночью, скручен веревками и отправлен в бурсу. Свободным везти его боялись – непременно убежит снова...

Около телеги образовалась толпа учеников.

– Меньшинский! – говорили бурсаки...

Он посмотрел только со злобой на своих товарищей: он всех их ненавидел в ту минуту.

– Как тебя поймали?

– Связанного так и везли?

– Сорок с лишком верст?

– Убирайтесь к черту, – отвечал он и закрыл глаза.

Появился инспектор, и толпа рассыпалась в стороны.

Через полчаса ведено было ученикам собраться в «пятом номере». Туда притащили связанного Меньшинского, повалили его на пол, раздели, два служителя сели ему на плеча, два на ноги, два встали с розгами по бокам, и началось сечение. Жестоко наказали знаменитого бегуна. Он получил около *трехсот* ударов и замертво был стащен в больницу на рогожке...

Впечатление от этой порки было потрясающее.

«Страшно, – подумал Карась, – Бог с ним и с бегством! Лучше на Пасху не пойду».

После того у Карася прошла охота бежать.

«Однако, на Пасху не идти? Нет, как-нибудь да урвусь из бурсы. Завтра обиход, – думал Карась, – решится дело – идти мне на Пасху или нет?»

Вот когда сделалось ему страшно. Чем ближе подходил грозный день неотпуска, тем становилось ему тошнее. К чувству ненависти и тоски присоединялось еще какое-то новое чувство: все стало казаться пустяками, зарождалась мизантропия, мрачный взгляд на мир Божий. Пробовал он чем-нибудь развлечься – ничего не выходило. Купил он костяшек и стал играть в *юлу*. «Какое нелепое занятие!» – сказал он через несколько минут и раскидал костяшки по полу. Добыл пряник из кармана, стал лакомиться, но скоро и пряник полетел на печку. Пошел к своим дуракам, но дураки только бесили его. В душе Карася начали подниматься вопросы, на которые ни йоты не могли ответить дураки. «Отчего все так гадко устроено на свете? Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят? Где всему этому начало? Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, но кто же дьявола-то соблазнил? Был когда-то рай на земле, но теперь все гадко на свете: отчего это? откуда?» Дуракам до таких вопросов, разумеется, не было дела. Сновал Карась из угла в угол и сильно волновался, наконец забился он в своей Камчатке под парту, накрыл победную голову шинелью и горько зарыдал. Слезы, однако, мало облегчили его. Он мало-помалу, однако, забылся и, утомленный впечатлениями дня, заснул кое-как. Пробудился он с головной болью, и первый вопрос опять был о Пасхе.

Карась думал, что он с ума сойдет от горя. Но вдруг лицо его стало проясняться, какая-то надежда прокрадывалась в сердце, точно он видел исход из своего положения. Карась решался на что-то и не решался. Но борьба быстро кончилась.

– Не умру же, Господи, Твоя воля! – проговорил и приступил к занятиям такого странного рода, что человеку, незнакомому с тайнами бурсацкой жизни, мог показаться уже лишившимся рассудка.

Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин.

Карась вышел на двор, отыскал большую лужу, уселся около нее и стал снимать сапоги. Потом, оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Хотя уже весенний лед прошел и время стояло довольно теплое, но на дворе по вечерам стояла легкая изморозь. Карась рисковал поплатиться здоровьем; но когда чулки на нем просохли, он опять стал плавать в луже и снова повторил свою проделку. Все это было очень дико. Но Карась не унимался. За ужином он нарочно ничего не ел, хотя не мог пожаловаться на дурной аппетит. После ужина он опять ходил в намоченных чулках. Пришедши в спальную, он намочил холодной водой галстук и надел его себе на шею. Все заснули, а он все ворочался в постели. Когда же стал одолевать сон Карася, он встал с кровати, добыл свои подтяжки, привязал ими себя за ноги к спинке кровати – положение, в котором невозможно заснуть. Он гнал свой сон. Мучил себя Карась добровольно.

Но что все это значит?

«Как бы захворать? – думал Карась. – Завтра меня стащут в больницу; обиход пройдет без меня, и я останусь уволенным на Пасху. Не умру же я. Хотя и больного возьмут домой, все же лучше!..»

Вот чем объясняется сумасбродство Карася...

Когда бурсак уходил от какой-нибудь беды в больницу, прятался в отхожих местах, строил келью на деревянном дворе, утекал в лес либо домой, то это на местном языке называлось – *спасаться*.

Спасаящихся в больнице было немало. Мы видели, что делал Карась, чтобы поселиться в ней. Для той же цели многие развивали на теле чесотку и нарочно не лечили ее, смотрели долго на солнце, чтобы получить куриную слепоту, натирали шею сукном либо накалывали ее булавками, чтобы распухла она, расковыривали страшно свои носы, растревляли на ногах раны и т. п.

Черт бы побрал бурсу, заставляющую человека прибегать к тем же средствам, чтобы избавиться от нее, к каким прибегают рекруты для избавления от солдатчины, то есть обрубают себе пальцы и рвут вон зубы. Отлично. Поутру на другой день Карась, бледный, растрепанный, еле держась на ногах, был отведен *старшим* в местную больницу.

Но такое *спасение*, на которое решился Карась, обходилось очень дорого: во-первых, потому, что приходилось рисковать здоровьем, а во-вторых, больница была одним из самых страшных мест бурсы.

Она делилась на два отделения: *чистое* и *чесотное*.

Чистое имело в себе комнату под аптекой; потом шли палаты для больных. В палатах на железные кровати были брошены слежавшиеся матрацы, жесткие, как камень, – в них гнездами гнездились клопы и другие паразиты. Комнаты были с линючими стенами, в пятнах, плесени, зелени; пол проеден мышами и крысами. *Чесотное* отделение, находящееся от *чистого* через коридор, в одной огромной комнате, было еще милее: это была какая-то прокаженная яма, кишашая коростой, струпьями и всякою заразою. Подле той ямы находилась кухня, из которой неслась в нос рвущая гниль и вонь. Близлежащие ватер-клозеты увеличивали впечатление. Содержание больных было очень нездорово. Воздух, при дурной вентиляции, был дохлый, пища скудная и скверная – *габерсуп*, прозванный от бурсаков *храбрым супом*, вместе с *пятибулкой* (булка в пятак ассигнациями), прополаскивая желудок, мало питали организм; белье было грязное и рваное; верхняя одежда тоже, но особенно замечательны были так называемые *саккосы* (древнее слово, означающее вретиче, рубище, лохмотьище и одежду смирения), то есть дерюжные, сероармяжные халаты; при этом строго наблюдалось, чтобы грязный колпак был на голове больного, так что больные сразу казались и нищими и дураками. Лекарства, нечего и говорить, были пустые – мушки, рожки, горчица, ромашка, *oleum ricini* [касторка (лат.)], *рыбий жир*, мазь от чесотки да несколько пластырей – вот, кажется, и все; только в крайних случаях решались на что-нибудь подороже.

Ко всему этому фельдшером был некто Мокеич. Он был глух на правое ухо и глух на левое ухо, глуп с фронта и глуп с затылка, хотя и был человек души доброй. Он был глубоко убежден, что доктора всегда глупее фельдшеров, особенно молодые. Мокеич хвастовался главным образом тем, что у него счастливая рука, и, вероятно, на этом основании пропил аптекарские весы, а после всегда узнавал вес рукою – подтряхнет на ладони какую-нибудь специю, «полунце», – говорит и сыплет в банку. Он лечил обыкновенно прислугу училищную и кой-кого из окрестных обывателей, перед которыми и ругал своего доктора.

Бурсаков в такой больнице спасал от смерти служащий при ней Доброволин. Если бы не он, то мором бы морило бурсаков. Ученики, помнящие его, вспоминают об этом человеке с глубоким уважением и любовью. Он обладал отличною ученостью, постоянно следил за наукой и в какие-нибудь три года составил себе огромную репутацию. Кроме того, что он всегда был готов помочь, уже один вид его доброго лица, ласковый, задушевный голос, умение обойтись с больным оживляли пациента

добрый надеждой. Бедные люди во всякое время дня и ночи могли найти его готовым на помощь им: посещая лачугу какого-нибудь бедняка, он приносил ему лекарство, пищу и деньги. Несмотря на то, что он имел богатую практику, Доброволин, вследствие необъятной доброты своего сердца, по смерти оставил капиталу только *пятиалтынный*. Когда газеты напечатали его некролог, то огромное количество почитателей стеклись, чтобы помочь его семейству в несчастье.

Доброволин был духовного происхождения и очень любил бурсаков. Он вел деятельную и усердную войну с училищным начальством. Но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Больница осталась страшным местом.

И вот все-таки в это место, полное смрада, нечистоты и болезней, бурсак прибегал, как в древности прибегали люди к священному алтарю своему, *искать защиты и спасения*. Бурсак в гнусной больнице искал спасения. И знаете ли, что и здесь не всегда ученик избегал зол бурсацких: бывали, хотя очень редко, примеры, что *больных секли*. Да.

Но Карась все выжил, все перенес, лишь бы только бурсацкое начальство не украдо у него домашнюю Гасху.

Пасху Карась провел дома. Дорогонько она обошлась ему.

Вот, господа, как бегают и спасаются наши бурсачки.

Переходное время бурсы. Очерк пятый

Несколько бурсачков в спальном коридоре играли в жмурки. Один из них, с завязанными глазами и распростертыми руками, ловил товарищей. Игроки то дергали его за сюртук с веселым смехом и шутками, то прятались от него по углам или тихо ходили около него на цыпочках. *Наводивший, по прозвищу Копчик*, бежал по направлению слышанных голосов. Но вдруг стихло все, и Копчик встретил на пути своем неожиданное препятствие, ударившись головою во что-то мягкое, по ощущению похожее на подушку, набитую хорошим пухом. Он схватил руками этот странный предмет. По всем соображениям, в руки попался человек, но что за человек? – такого мягкого, пузатого, шарообразного не было среди играющих. Однако Копчик, не разобрав, в чем дело, радостно закричал:

– Ага, попался, голубчик!

Он стал ощупывать круглый предмет, потому что в жмурках недостаточно только поймать кого-нибудь, а следует еще угадать, кто пойман... Но Копчик вдруг услышал над собою грозный голос:

– Сам попался, мерзавец!..

Голос был незнакомый.

– Кто это? – спросил Копчик.

– Я это!

Копчик почувствовал, что в его волоса вцепился какой-то зверь и теперь свирепо таскает его. Он быстро сдернул с глаз повязку и диву дался: он увидел перед собою какого-то человека, очень толстого, круглого и красного, в корпусе которого по крайней мере две трети пошло на пузо.

– Батюшка, что вы? – говорил изумленный Копчик.

– А вот что!

Незнакомец, оставив волоса Копчика, стал бить его по щекам серыми замшевыми перчатками...

– Ты не узнал своего начальника, каналья?.. Ты не узнал его?.. Так-то вы уважаете власти?

Он продолжал бить Копчика перчатками.

– Шапки долой! – обратился он к другим ученикам.

Те машинально обнажили головы.

– По классам!.. живо!..

Бурсаки мгновенно исчезли. Новый же начальник отправился к инспектору.

– Новый!.. Новый!.. – раздавалось по всему училищу...

Особенно сильное волнение было во второузном классе, самом влиятельном во всей бурсе.

– Копчика уже успел отгаскать, – говорили в кучках.

– Жирный черт!

– Плешивый!

– Круглее шара!

– Жирнее сала!..

– Мягче воску!

– Легче пуху!

– Чище хрустало!

– Это не поп, а пуп!

Озлобленные бурсаки ругались и крепко острили.

– А вот еще черта-то посадили на шею!

– А говорил я, братцы, – начал один бурсак, – что лучше Звездочета нам не дожидаться начальника...

– Что же, Звездочет был, ей-Богу, добрый человек!

Звездочетом называли смотрителя, который выходил в отставку. О нем мы редко упоминали в своих очерках. Сила, сдерживающая грозный поток бурсацкой жизни, у нас всегда являлась в лице инспектора. Так было и на деле. Он редко являлся в классы, спальную или столовую; даже на дворе он показывался не часто, стараясь выходить из училища в занятные часы. Он для бурсы был каким-то мифом, высшим существом, которое таинственно правило судьбами бурсы, являясь ученикам большею частью в образе инспектора и лично почти только что во время экзаменов. Среди учеников ходило много предрассудков и суеверий насчет этой таинственной силы. Его считали в высшей степени ученым астрономом и математиком. Причиной тому было то обстоятельство, что Звездочет однажды за несколько дней объявил своим воспитанникам, что такого-то числа ночью будет лунное затмение, выбрал из них лучших и вместе с ними наблюдал интересное явление природы, объясняя его своим слушателям, которые, разумеется, ничего не поняли из его слов, но это-то именно главным образом и утвердило их в мысли о громадной учености смотрителя. Потом ученики видали, как смотритель по ночам смотрел в зрительную трубу на небо, а днем, закрывшись старою, направлял ее на окна классов... «Наш смотритель – звездочет», – говорили ученики, соединяя с словом «звездочет» понятие о недостижимой для простого смертного учености. Зрительная же трубка, направленная на класс, производила трепет в учениках. Многие серьезно были убеждены, что Звездочет мог видеть все,

что делается в классе, даже сквозь каменные стены. «Есть такие трубки», – говорили они. Были и такие, которые думали, что есть инструменты, посредством которых можно даже слышать, кто и что говорит. Разумеется, либералы бурсы, развившиеся до отрицания шляющихся по ночам мертвецов, домовых и чертей (немало было и таких в бурсе), смеялись над всевидящими и слышащими препаратами, но тем не менее и они верили в бездонную ученость Звездочета и, кроме того, невольно поддавались влиянию того таинственного страха, который распространял вокруг них Звездочет, как будто стараясь поддерживать этот страх. Являясь неожиданно, он всегда озадачивал учеников чем-нибудь чрезвычайным. Так, однажды растворилась дверь класса, в ней показались служителя, несшие черную доску, на доске была изображена «слепая» карта Европы, то есть без надписей гор, рек, городов и проч., города обозначались медными гвоздиками. Ученики в жизнь свою не видали такого дива. Пришел и сам Звездочет. Он стал спрашивать лучших учеников по слепой карте. Ученики, как говорится в бурсе, ни в зуб толкануть. Тогда Звездочет стал объяснять им географию России – со всеми замечаниями, то есть рассказывая, чем замечательна та или другая гора, озеро, место, тогда как бурсаки жарили вдолбляжку одну номенклатуру, но главное их поразило, что он тот или другой гвоздик на доске называл каким-нибудь городом, всякую извивающуюся линию рекою и т. д. «Как это помнит он? Как не собьется?» После подобной штуки Звездочет опять скрывался в своем таинственном жилище надолго... Все трепетало при его появлении в класс. Ученики не запомнят случая, чтобы он, когда наказывал сам (чрезвычайно редко), давал более десяти ударов (жесткие порки были делом инспектора), но его боялись несравненно более, нежели инспектора. Эти десять ударов сопровождалась обычно непроницаемою таинственностью. Он объявлял ученику какой-нибудь его проступок, о котором никто не знал, кроме провинившегося, и притом проступок его всегда был серьезный, за который инспектор отдрал бы до страшного кровопролития, но тут имела силу уже не физическая боль, а именно то, что высек сам смотритель. Откуда он все знает? Бурсакам хорошо известно было, что у него хранится страшная черная книга (упоминаемая нами в первом очерке), в которую вносились все преступления учеников и на основании которой составлялись аттестаты их поведения, но как наполнялась эта демонская книга, в свою очередь клавшая темноту и мрак на лицо Звездочета? Дуракам приходили в голову зрительные и слуховые инструменты. Самые беззатылочные глупцы уверяли, что Звездочет давно продал черту душу, что он по звездам все знать может, и считали его колдуном. Люди поумнее подозревали тут фискальство; но сколько ни следили они за Звездочетом, какие пластыри⁵ ни употребляли – и признака, и тени фискальства не открыли: оно, как и розги, было в руках инспектора. Все были в недоумении насчет этого обстоятельства. Все располагало к тому, чтобы окружить таинственностью, мраком, чуть не чародейством личность Звездочета. Жил он один, скромно, тихо, женщины никогда его не посещали. Во время экзамена бурсаки видели его, окруженного другими начальниками, относящимися в большинстве тоже с каким-то страхом и все с глубоким почтением. Ходили слухи, что и высшее начальство смотрело на него с уважением и ценило его деятельность. Говорили, что он однажды предложил поднять на воздух здание духовной академии и что поднял бы непременно, только потребовал очень много денег; что англичане изобрели лодку, которая ходит под водой, и что, когда у них дело не ладилось, они, услышав о великой учености бурсацкого Звездочета, пригласили его, и лодка пошла под водой. Таков был Звездочет по взгляду учеников. Он всегда был загадочен, таинственен, и существование его кончилось для бурсы как-то странно; пришел какой-то пузатый человек, оттрепал ученика и объявил себя не смотрителем уже, а ректором, – ректоров до сих пор в училище не бывало. Но что же это был в самом деле за человек, заключавший в себе высшую и таинственную силу бурсацкого управления? Не астролог же он был

⁵ Когда бурсаки выслеживали фискаля, переносящего всю скверную нечистоту бурсы в уши начальника по ночам, чтобы скрыть свою подлую службу от товарищества, то они, между множеством средств, употребляли пластырь гуммозный, который всегда можно было достать в лазарете. Пластырь кладется по лестнице, ведущей к дверям начальника, и около его дверей. На другой день осматривали сапоги учеников и если на подошве их находили улику, то обыкновенно вели себя по отношению к ним как к несомненным фискалам.

или алхимик, не колдун, не демон, наконец? Ученики его уже по окончании курса узнали, что Звездочет в действительности был очень обыкновенный смертный. Это был человек довольно образованный, хотя подводных лодок и слуховых инструментов и не думал изобретать. Нам кажется, всю таинственность его персоны очень просто объяснить. В описываемые нами времена, при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси, трудно, часто невозможно было служить вполне честно и гуманно. Мы объясняли не раз, что бурсацкая наука и нравственность были до того аномальны, что без жестокостей они не могли быть поддерживаемы в бурсе. Звездочет же был человек добрый и не мог выносить ужасов бурсы; поэтому он среди ее уединился в своей квартире, предоставив все дело инспектору. Этого, разумеется, не могли понять бурсаки. Значит, вся сила в том, что Звездочет попал не на свое место, что он был человек без призвания, а не то чтобы колдун или демон. Он старался как можно менее иметь соприкосновения к бурсе. Вот почему он редко выходил на сцену в наших очерках, а всегда решителем всех дел являлся инспектор.

Но и этот решитель, сослуживец его, давно вышел в отставку, еще ранее его. Подошли другие времена, настали иные нравы бурсы. Вместе с выходом старого инспектора по крайней мере наполовину уменьшились в училище спартанские наказания, бросили драть *под колоколом*, не заставляли держать кирпич в поднятой руке, стоя на коленях среди двора, нередко в грязи, не ставили коленями на ребро парты, не относили на рогожках жестоко сеченных учеников, начальство реже расшибало зубы и ломало ребра своим питомцам. И самая бурса измельчала и выродилась: прежде по крайней мере наполовину учеников было великовозрастных, теперь их осталось не более десятой части. Бурса прогрессировала по-своему.

1863